

Михаил Павлович Шишкин

Русская Швейцария

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=659265
Михаил Шишкин. Русская Швейцария: АСТ, Астрель; Москва; 2011
ISBN 978-5-17-070385-2, 978-5-271-31274-8*

Аннотация

Михаил Шишкин – прозаик, автор романов «Взятие Измаила» (премия «Русский Букер»), «Венерин волос» (премии «Большая книга» и «Национальный бестселлер»), «Записки Ларионова» и «Письмовник». С середины 90-х годов живет в Швейцарии. Он долго искал книгу о русских писателях, композиторах, философах, которые жили или бывали в этой стране, но таковой не нашел и... решил написать ее сам. Получился литературно-исторический путеводитель «Русская Швейцария».

Содержание

I. Вместо предисловия. Урок швейцарского	5
II. Русская столица Швейцарии. Женева	19
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Михаил Шишкин

Русская Швейцария

Автор выражает искреннюю признательность всем, кто оказал содействие в сборе материалов для этого издания:

Борису Беленкину (Москва), Олегу Белинцеву (Цюрих), Владимиру Березину (Москва), Зигмунду Видмеру (Цюрих), Паулю Викки (Цюрих), Юрию и Терезе Гальпериным (Берн), Фаине Гримберг (Москва), Валерии Даувальдер (Цюрих), Андрею Добрицыну (Берн), Вернеру Зингеру (Увизен), проф. Феликсу Филиппу Ингольду (Санкт-Галлен), Надежде Карпушко (Лозанна), Беату Кляйнеру (Цюрих), Марине Корендфельд (Цюрих), Элиане Лейтенэггер (Винтертур), Еве Мэдер (Винтертур), Дмитрию Рагозину (Москва), Ильме Ракуза (Цюрих), Марине Румянцевой-фон Гунтен (Цюрих), Михаилу Сазонову (Женева), Ольге Скопечной (Москва), Доротее Троттенберг (Цюрих), Виктору Федюшину (Цюрих), Тоне Фуррер (Ольтен), Йоргу Хюсси (Цюрих), Лиле и Иво Хукс (Рихтерсвилль), Верене Хубер (Цюрих), Ирине Черновой-Бургер (Берн), Андреасу Шиндорферу (Шафхаузен), Ульриху Шмиду (Цюрих), Регуле и Манфреду Шпалингер (Андельфинген), Эдуарду Шульману (Москва), Александру Шумову (Цюрих),

а также работникам посольства России в Швейцарии.

Особенно хочу поблагодарить швейцарских славистов и историков – участников проекта «Die schweizerisch-slavischen und schweizerisch-osteuropäischen Wechselbeziehungen», работавших под руководством профессоров Петера Бранга (Цюрих), Карстена Герке (Цюрих), Робина Кембалла (Лозанна) и Вернера Циммермана (Цюрих):

Лоренцо Амберга (Берн), Монику Банковски-Цюллиг (Кюснахт), Петру Бишоф (Давос), Лилиану Брюггер (Цюрих), Светлану Геллерман (Женева), Кристину Гериг (Берн), Юрга Пляйса (Цюрих), Квиринуса Райхена (Фрутиген), Хайнриха Риггенбаха (Базель), Ирену Трокслер (Цюрих), Ханса Уреха (Цюрих), Петера Юда (Цюрих) и др.,

а также Евгения Нечепорука (Симферополь) и Ростислава Данилевского (Петербург).

Их исследования и публикации очень помогли мне при работе над книгой.

Я глубоко признателен профессору Петеру Брангу, прочитавшему рукопись и сделавшему ценные замечания и поправки, которые были учтены при публикации.

Впервые «Русская Швейцария» вышла в 2000 году в Цюрихском издательстве «Rapo Verlag». Настоящее издание переработанное и дополненное.

I. Вместо предисловия. Урок швейцарского

«Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».

Н.М. Карамзин. «Письма русского путешественника»

«Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из прекраснейших в стране; и в самом деле, здесь совмещены все возможные, так называемые красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня мука: сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно».

С.Г. Нечаев. Из письма Наталье Герцен, 27 мая 1870 г.



Рай и скука. Между двумя этими полюсами раскинулся мир, в котором что-то не так. Странно все здесь русскому путешественнику.

Нет шири, но есть горы. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. Национальный герой – убийца, а граждане законолюбивы. Исправно платят налоги, правительства не боятся и живут не от войны до войны.

Что это вообще такое, Швейцария?

Ожившая витрина игрушечного магазина? Набор почтовых открыток вместо пейзажа? Послушание законам, самими же и придуманным? Святая уверенность деда, что его лужайка достанется внуку? Государство, скроенное по фасону гоголевской шинельки? Накопленный труд поколений, перед которым бессильны все революции и идеи? Россия наоборот?

На берегах альпийских озер тесно от русских теней.

Швейцарская география сцепляет русскую историю в самых непривычных комбинациях.

Скрябин спешит по женевской улице навстречу бегущему за акушеркой Достоевскому, а потом оба отпевают в церкви на Рю-Родольф-Тепфер своих дочерей. Пансионерка Муся Цветаева скачет к маме вприпрыжку по набережной Уши мимо задумавшегося Азефа. Герцен и Солженицын печатаются в одной газете. На вершине горы Риги встречают восход плечом к плечу Тютчев и Бунин.

Замусоленные достопримечательности превращаются в зеркало, отражающее всякого, кто заглядывает. Не русские путешественники рассказывают о Рейнском водопаде, но водопад о них. В падении Рейна отражается русский мир.

Чтобы полюбоваться рейнским чудом, Карамзин проделывает весь путь от Цюриха до Шафхаузена – без малого 50 километров – пешком. «Феномен действительно величественный! – заключает Карамзин свое знаменитое описание. – Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!»

Мощь падающей реки производит на Александра I такое впечатление, что победитель Наполеона заказывает картину, изображающую его на фоне чуда природы. Полотно пишет художник Сильвестр Щедрин, подгоняя размеры водопада под рост царя. После большевистского переворота этот вид на падение Рейна будет запрещен для публичного показа и проведет долгие десятилетия в запасниках Русского музея.

Греч чувствует себя оскорбленным за унижение уникального явления природы, которое человек заставил банально крутить колесо табачной фабрики.

То, что побуждает Жуковского оставить восторженное романтическое описание, дает повод Толстому остаться равнодушным к месту обязательного восхищения и записать в дневнике: «Ненормальное, ничего не говорящее зрелище».

В 1902 году, совершив нашумевший в свое время побег из киевской тюрьмы, десять искровцев, в том числе Бауман и Литвинов, будущий сталинский министр иностранных дел, договариваются о встрече не где-нибудь, а в Швейцарии, в ресторане над водопадом, откуда отправляют телеграмму в Россию шефу жандармов: «Все вместе мы празднуем удачный исход нашего побега в ресторанчике у Рейнского водопада, о чем посылаем телеграфное извещение за всеми нашими подписями генералу Новицкому».

Через год в перерыве между заседаниями учредительного совещания «Союза освобождения» сюда придут отдохнуть от споров о судьбах империи основатели «партии профессоров»: Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Семен Франк, другие будущие пассажиры «философского парохода».

В апреле 17-го здесь переедет мост через Рейн «пломбированный» вагон, но его пассажирам будет не до красот природы.

Русскому путешественнику чужд музейный пиетет. Он ощущает себя, вдыхая альпийский ветерок, законным наследником, хозяином, вступающим в права владения своей долей мирового наследства. Он подгоняет эту страну по своей фигуре.

Местные святыни пробуются русским зубом на фальшивость. Люцернский лев, знаменитый памятник швейцарским солдатам, погибшим при защите Тюильри от революционного народа, если и поражает, то своими размерами: «В Люцерне есть памятник, – пишет Жуковский, – которому нет подобного по огромности». Уже Александр Тургенев ставит под сомнение смысл монумента: «Мне все что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским *point d'honneur* и швейцарскою верностью. Они умерли за чужого

короля, защищая не свою землю, не свое правительство, – не за свое дело – а в чужом пиру похмелье». А Салтыков-Щедрин, не стесняясь, так интерпретирует латинскую надпись на памятнике “*Helvetiorum fidei ac virtuti*” («Доблести и верности швейцарцев») – «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французский престол-отечество».

Русский путешественник чувствует себя в Альпах как дома. Гоголь выцарапывает свое имя на камнях шильонской тюрьмы. Белый сжигает Гетеанум¹, как бунтующий мужик помещичью усадьбу. Розанов усаживается в кресло Кальвина. Вольтер опускается на колени перед образованной русской гостьей – мучимый геморроем философ, принимая княгиню Дашкову, не может даже присесть по-человечески. Под строгим взглядом автора «Города Глупова» гордый символ Швейцарии, гора Юнгфрау, поднимается с насиженного места и отправляется на поселение в Уфимскую губернию. Монтрё приобретает рождественские очертания, набоковский карандаш рисует силуэт вершины Маттерхорна, а получается профиль Пушкина. Шагал пригоняет в Цюрих витебских коров, и они молчат о чем-то в витражах Фраумюнстера.

Одна шестая часть суши и поднебесный пятачок связаны невидимой натянутой жилой. В стране-курорте происходят события, внешне незаметные, но влияющие самым роковым образом на судьбу страны-империи. Здесь в головы приходят идеи, которые потом претворяются за сотни и тысячи верст от Базеля и Лугано – и в книги, и в картины, и в расстрелы заложников. В тиши женевских и цюрихских библиотек составляются рецепты, по которым будет заварена кровавая каша на поколения едоков.

После Карамзина этот край становится неотъемлемой частью русского литературного ландшафта. Крик базельского осла разбудит князя Мышкина, Тургенев заставит говорить даже альпийские вершины, Бунин будет посылать своих героинь умирать на Женевское озеро, Ходасевич в 1917 году напишет стихотворение «В этом глупом Швейцерхофе...». Знаменитый отель на набережной Люцерна станет именем нарицательным: Швейцерхоф – мир, в котором все постояльцы.

День, проведенный отставным русским офицером в курортном городке на берегу Фирвальдштетского озера, становится днем суетной истины и мучительного бессмертия. «Проснулся в 9, пошел в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. “Отъезжее поле” – бросил. Обед тупоумно-скучный... Чего хочется, страстно желается? Не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! – когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть.

Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

Почему московский дворянин и душевладелец падает на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает: «Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?» Некое недоступное швейцарскому крестьянину-гражданину русское знание заставляет «генерала русских путешественников», как окрестит Карамзина Греч, назвать это пятнышко на карте земным парадизом. «Письма» Карамзина – не только удивительный односторонний договор об аннексии ничего не подозревающей страны, своеобразный акт о включении Швейцарии в русскую культуру, это и генеральная диспозиция с установкой ориентиров и цели, план движения, закодированный завет блуждающей русской душе. Будущий автор многотомной русской

¹ Антропософская община доктора Штейнера.

истории, пропитанной кровью, пущенной для высших потребностей, ставит своим читателям вешки обыкновенного земного счастья.

Карамзин задает новый для тоталитарной системы вектор движения – к приоритету ценностей частной жизни.

Как Карамзин ехал сюда с томиком Руссо, так после него поедут с томиком Карамзина. Как Карамзин, будут смотреть на альпийские прелести, а видеть отечественную свистопляску. Гельветический пейзаж протыкают то и дело «проклятые русские вопросы». Поскачет от Веве в сторону Кларана и дальше по всему миру бричка с Чичиковым. В горном обвале привидится Жуковскому «бесмысленный и беспощадный». Швейцарские впечатления будут толкать под локоть автора «Философических писем».

Чаадаев после знаменитой отставки мечтает поселиться в Швейцарии. Увы, поездка в любую страну оказывается поездкой в Россию. В Берне, на чае у Свербеева, желчный отставник набрасывается с пылкостью на родную империю: «...обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный такими преувеличениями, – вспоминает Свербеев, – я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. “Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославились и награждались по прихоти, по протекции”. Говоря это, Чаадаев вышел из себя и раздражился донельзя».

Лозанна дает повод Жуковскому вспомнить отечество, где «в провинциях грубое скотство, в больших городах грубая пышность». При виде обвалившейся горы, похоронившей под собой деревушку Гольдау, у учителя будущего императора-освободителя рождается «горная философия»: «Проезжая сюда через кантон Швиц, я видел на прекрасной долине, между Цюрихским и Ловерцким озером, развалины горы, задавившей за двадцать лет несколько деревень и обратившей своим падением райскую область в пустыню. Это место называлось тогда Goldau (Золотой луг). За двенадцать лет перед сим я уже видел его: с тех пор ничего не переменялось; те же голые, набросанные горами камни, немногие покрылись мхом; кое-где пробиваются тощие кусты, но еще почти нет признаков жизни: время невидимо работает, но разрушение в полной еще силе. Рядом с этим хаосом камней простирается холмистая равнина, покрытая сочной травой, пышными деревьями, селениями, хижинами, садами; но бугристая поверхность ее, согласно с преданием, свидетельствует о древнем разрушении: за несколько веков и на этом месте упала гора, задавила несколько селений, и надлежало пройти сотням лет, дабы развалины могли покрыться слоем плодородной земли, на которой поселилось новое поколение, совершенно чуждое погибшему. Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли большинством толпы, дерзкою ли властью одного! Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслью, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодородною. И, правда, будет земля плодородная, но для кого и когда? Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах: но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель; а произведенное временем из созданных нами развалин немало не соответствует тому, чего мы хотели вначале. Время – истинный создатель, мы же в свою пору были только преступные губители, и отдаленные благие следствия, заглажив следы гибели, не оправдывают губителей. На этих развалинах Гольдау ярко написана истина: “Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благотельно в своих последствиях; никто не имеет

права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага»).

Восторгами от красот природы, чистоты улиц и порядочности гельветов переполнены описания путешествий, дневники и письма.

Но чу! Альпийский эдем в больших дозах вызывает у русских путешественников рвотный рефлекс. «Что тебе сказать о Швейцарии? Всё виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне попало теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатой избу и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом». Это Гоголь.

«Рейн – естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на всё: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью, кроме мертвых, здесь никто не веселится...» – Герцен.

Толстой о гельветах: «Швейцарцы – непоэтичный народ».

Достоевский: «О, если б вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать путешествуя. Нет, поживите-ка! Но не могу вам теперь описать даже и вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до *non plus ultra*. В управлении и во всей Швейцарии – партии и грызня непрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всем; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие: о, если бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным...»

Парадиз наизнанку. Или другое представление о спасении души?

В Цюрих и Женеву русский путешественник привозит с собой в багаже опыт предков, поровших и поротых, но дружно тянувших веками ляжку отечества. Вековая царская служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что послал с берегов Рейна казалось в России деспотией и рабством, воспринималось на Москве-реке самоотверженным участием в общей борьбе, где царь – отец и генерал, а все остальные – его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность отечества в географии и времени были залогом спасения, всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа.

Но вот счастливому детству воюющей со всем светом нации приходит конец – немцы на русском троне объявляют «Вольность», сперва дворянскую, а через сто лет поголовную. Начинается испытание дармовой свободой. Привычная к Службе душа задает себе новый вопрос – для чего жить? Очевидный на фоне Альп ответ – для себя, для детей – вовсе не представляется очевидным на берегах Волги и Невы. По страницам русских романов разбредаются, гонимые кириллицей, «лишние люди».

Ценности частной жизни, символом которых Карамзин в русском сознании сделал Швейцарию, поставлены в России под сомнение. Внезапная пустота под ложечкой вышедшего в отставку народа требовала замены Службы чем-то не менее возвышенным. Просто жизнь сама по себе, в ее «швейцарском» виде, преломилась в русском зрачке в тошнотворное бюргерство, в лишенное одухотворяющего смысла презренное мещанское существование.

Русско-швейцарскую границу сторожат, подобно васнецовским богатырям, привитое великой литературой презрение к «аисту на крыше», очевидная бессмысленность «трудодней» при любом режиме и генетическая предрасположенность к высоким идеалам. Устами

швейцарского гражданина Герцена, «тяглового крестьянина сельца Шателя, что под Мурте-ном»: «Но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? Их нет...»

С первой русской «перестройкой» – реформами Александра II – заканчивается многовековая изоляция. Заграничный паспорт, стоивший при Николае 250 рублей за полгода пребывания, за пять целковых не выправляет себе разве что ленивый. Население демократизируемой царем империи получает возможность самолично пощупать ценности «швейцарской» цивилизации. Впервые в истории за рубеж огромная масса русских отправляется не в виде армии, но в штатском. Русские за границей: когорта посвященных, узнающих друг друга с полувзгляда, перекаати-Альпы с опричниной в прошлом и ГУЛАГом в будущем, туристическая группа, одержимая спасением души.

Многоязычная Швейцария считается провинцией великих европейских культур и столицей педагогики. Женевские и лозаннские пансионы переполнены русскими отпрысками. Получение Надеждой Сусловой докторского диплома производит эффект взорвавшейся бомбы. Цюрих и другие университетские города переживают нашествие «казацких лошадок», как назовут здесь русских студенток. Высшие учебные заведения наполняются местечковой и разночинной молодежью из неслыханных дыр необъятной империи.

Однако неладно что-то в швейцарской системе образования: учатся на врачей, кромсают трупы гельветов в анатомическом кабинете, чтобы служить ближнему, облегчать болезни страждущему, а становятся бомбистками. Герцен в «Цветах Минервы»: «Эта фаланга – сама революция, суровая в семнадцать лет... Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума... Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'ам. Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами. <...> Студенты-барышни – якобинцы, Сен-Жюст в амазонке – всё резко, чисто, беспощадно». Почти все, не доучившись, бросают учебу-безделицу и отправляются домой делать «дело», заканчивая свои университеты, по отечественной традиции, в тюрьмах и ссылках.

Всепоглощающую Службу может заменить только беззаветное Служение. Карамзинскому раю противостоит отныне русская Утопия. Эффектная формулировка Прудона – «собственность есть кража», рассчитанная на эпатаж читающей публики, при переводе на русский вдруг обрастает новым смыслом и читается совсем по-другому в стране, где народная мудрость подводит вековой итог: «Трудом праведным не наживешь палат каменных».

На берегах швейцарских озер начинается Великая промывка мозгов. Здесь, в комнатке с видом на белеющие мирные Альпы, ложатся на бумагу заветные нечаевские слова: «Нравственно всё, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает ему».

Старый поэт, давший на Воробьевых горах клятву посвятить жизнь счастью народа, пишет в женевских прокламациях: «Братцы! Приходит нам невтерпеж!.. Житье на Руси всё хуже да хуже! Свободой нас обманули, только по губам помазали!..»; «Надо нам их всех вконец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли опять никак. А для этого надо нам, братцы, будет города их жечь. Да выжигать дотла»; «Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждатель-то нам нечего, чего зевать? Кому подошло, если какой из наших врагов подвернулся под руку, и кончай с ним!»

Кумир русской молодежи, гражданин кантона Тессин Микеле Бакенини, провозглашает на Конгрессе мира в Женеве – или, по выражению Герцена, на «писовке»²: «Не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патрио-

² От англ. *peace* – мир

тизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов». И дальше: «Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения».

«За этот год, – пишет народоволка Вера Фигнер в воспоминаниях об учебе в Цюрихе, – в моих мыслях произошел такой же переворот, как у других; то, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство; деятельность медика, агронома, техника как таковых потеряла в наших глазах смысл; прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое; мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстур и порошков, получится лишь временное облегчение... Цель, казавшаяся благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного». Придя к такому выводу, Фигнер вместе с другими студентками решает «отдать себя всецело делу пропаганды социалистических идей среди народа и организации его для активной борьбы за эти идеи. Таков был итог цюрихской жизни... В декабре 1875 года я выехала из Швейцарии, унося навсегда светлое воспоминание о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель, столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными».

Невоплотившиеся врачи, инженеры, ученые уезжают в Россию – на эшафот – с упоением. Может ли бюргерское, «швейцарское», презренное и осмеянное существование сравниться со сладостным самопожертвованием, гарантирующим бессмертие в революционных святцах?

Урок швейцарского. Не языка, разумеется, но мироздания. “Schaffe, schaffe, Husli baue!” Одиннадцатая заповедь, не переведенная некогда на славянский: «Трудись, трудись, строй свой домик!» Нет-нет, под «делом» в России понимают что-то совсем другое.

Примеров обратного духовного переворота, обращения в «швейцарскую» систему ценностей совсем немного, тем они интересней. Лев Тихомиров – один из лидеров «Народной воли». В своих мемуарах он вспоминает долгие прогулки с беременной женой по окрестностям Женевы. Революционерам-народникам, посвятившим свою жизнь счастью русских крестьян, жизнь крестьянина швейцарского кажется диковинкой. «Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь деревенские дома. Каменные, многостлетние. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, огорожена камнем... Я сначала не понимал загадки, которую мне всё это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это *собственность*, это “капитал”, миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество наличный труд поколения. Что такое у нас, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет, деревянная дрянь, никто не живет в доме деда, потому что он еще при самом деде два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно, и корова издохла. А здесь это *прошлое* охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе?»

Тихомиров, не побоявшись проклятий бывших коллег по террору, напишет покаяние на имя царя и вернется в Россию. Остаток жизни он посвятит борьбе с русской революцией, будет неустанно писать, пытаться объяснить опасность ее, пока вдруг не замолчит накануне

войны: «Господь закрыл очи царя, и никто не может изменить этого. Революция всё равно неизбежно придет, но я дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней».

Швейцарский урок остался в России невыученным.

Швейцария действительно становится раем, но для подготовки русского террора. Кто ищет бури – пристает к леманским берегам. В питательном швейцарском бульоне идеи распространяются молниеносно. Русская «освободительная» мысль за отсутствием предохранительных средств приобретает характер эпидемии. Альпийская республика – центр тамиздата той поры.

Половина всех русскоязычных эмигрантских изданий с 1855 по 1917 год выпускается в Швейцарии. Нелегальная Россия существует благодаря легальной Швейцарии. Эта страна с ноготок – колыбель русской смуты, потрясшей XX век. На смену страстным теоретикам разрушения вроде Бакунина, нашедшего успокоение на Бремгартенском кладбище Берна, приходят не менее страстные практики. Под защитой гельветических законов располагаются со всеми удобствами штаб-квартиры всех радикальных партий. Подготовка покушений, «эксов», взрывов проходит на фоне живописных нейтральных ландшафтов.

«Швейцарская таможня и пограничная охрана никаких неприятностей мне не преподнесли, – вспоминает большевик Васильев-Южин. – У меня не спросили ни паспорта, ни имени, ни какой я национальности и только полюбопытствовали, не везу ли я при себе много папирос и табаку. Очевидно, просто в фискальных интересах».

Другой большевик, Семашко, так объясняет привлекательность этой страны для революционеров: «Центром наших эмигрантских устремлений была тогда Швейцария. В Германии и даже во Франции бывали случаи выдачи эмигрантов по требованию русского правительства. Швейцария считалась “неприкосновенным убежищем политических”. <...> Да к тому же жизнь в Швейцарии была значительно дешевле, чем в Германии или во Франции. Поэтому Швейцария в те годы была переполнена эмигрантами».

Примечательно, что не только в отечественном сознании Швейцария ассоциируется с плацдармом русской революции. Отправляясь заниматься альпинизмом в Швейцарию, знаменитый Тартарен встречается там не со швейцарцами, а с русскими террористами. Вот образ революционера из России, возникающий под пером Доде: «Похожий на русского мужика, с волосатыми руками, длинными черными жирными волосами и нечесаной бородой». Не менее примечательна и гоголевская фамилия борца с царизмом – Манилов. Тарасконец влюбляется в неотразимую красавицу-террористку Соню, которая «убила на улице генерала Фелялина, председателя военного суда, осудившего ее брата на вечную ссылку». Действие развивается достаточно грубо: уже через несколько страниц в дело идет знаменитая веревка из Авиньона. Одолженной у Тартарена бечевкой в лесу придушен русскими певец, заподозренный в шпионстве.

Реальные бомбисты чувствуют себя в Швейцарии не менее привольно, чем персонажи «Тартарена в Альпах». Эхо бомбы, взорванной русскими «студентами» на Цюрихберге, прокатывается по всей Швейцарии. Взрывы гремят в женевских квартирах, где готовят адские машины для царских сатрапов боевики Азефа и Савинкова. В Монтрё русские анархисты устраивают «экс» с ограблением банка. Охота за русскими министрами не прекращается и на швейцарских курортах. Случается, бывают ошибки. Как-то вместо министра Дурново застрелили некоего Шарля Мюллера.

«Счастливые швейцары» морщатся, но терпят. «Высшие интересы» политической эмиграции вписываются в «фискальные интересы» почтенных бюргеров. Симбиоз полярных мироощущений. На русской революции делаются швейцарские деньги. На запрос общественности, обеспокоенной резким увеличением числа русских студентов, занятых не столько учебой, сколько партийной полемикой, ректорат Цюрихского университета отве-

чает: «Они ежегодно приносят с собой большие суммы денег в Цюрих и способствуют таким образом росту нашего народного благосостояния».

Эсер Клячко: «Нельзя сказать, чтобы франколюбивые швейцары относились очень благосклонно к русским эмигрантам. У этих граждан буржуазно-демократической республики, торгующих своим климатом и природой, франк – на первом плане. Ведь, в сущности говоря, Лозанна с ее окрестностями (Кларан, Монтрё, Веве и пр.) – это большая гостиница-пансион. Свыше 600 эмигрантов, т. е. 600 занятых комнат, около 600 студентов, вносящих плату за право учения в университете, наконец, содержание их, дающее приличный заработок, – это для франколюбивых швейцарцев была не шутка... Поэтому и терпели, скрепя сердце, русских эмигрантов».

Швейцария становится Меккой нового учения о светлом будущем. Пророки распределяют сферы влияния – Цюрих принадлежит Аксельроду, открывшему здесь кефирный заводик, Женева – Плеханову. Сюда едут на поклонение. Заехать в город на Роне, чтобы пожать руку первому марксисту, считает своим долгом всякий уважающий себя интеллигент – от Вербицкой, авторши тогдашних бестселлеров, до Бердяева.

Хародчинская, секретарша Плеханова, вспоминает, как в 1912 году во время прогулки по Променад-де-Бастион за Женевским университетом к ним, услышав русскую речь, подошла одна женщина и обратилась к импозантному господину с вопросом, не подскажет ли он, где можно купить хорошие часы, – она, мол, первый раз в Швейцарии, слышала, что женевские часы славятся на весь мир, и хотела бы привезти домой сувенир. «Юмор, – пишет Хародчинская, – составлял основную черту Плеханова. Он любил пошутить, но шутки его бывали такие тонкие, что часто собеседник, мало знавший Плеханова, не мог уловить иронии в его словах. <...> Г.В. с самым серьезным видом стал пространно объяснять ей, как надо пройти на такую-то улицу, в такой-то магазин... Какими-то путями разговор перешел на религиозную тему. Г.В. заявил, что верит в Бога так же слабо, как и в черта, и советует ей от души пересмотреть свои взгляды на сей предмет. Оскорбленная и испуганная дама поспешила прочь от нас, сказав на прощание, что она будет молиться за грешную душу безбожника. Эта встреча доставила нам большое удовольствие. Г.В. долго посмеивался, вспоминая, в какой ужас он вверг свою верующую собеседницу».

История, как известно, обожает рифмы. Пройдет несколько лет, и свою шутку Плеханов услышит при совсем других обстоятельствах. После октябрьского переворота к нему, больному, харкающему кровью, уже не встающему с постели, ворвутся революционные матросы и солдаты с обыском. «Краса и гордость русской революции» приставит ко лбу мыслителя дуло маузера. Жена Плеханова, Розалия Марковна, вскрикнет: «Ради Бога, не делайте этого!» Матрос засмеется и вдруг повторит слова, сказанные Плехановым некогда в женевском мирном парке. После обыска Георгий Валентинович признается супруге, что «его занимала мысль, увидит ли он раньше огонь или услышит звук выстрела». «Неоднократно, – напишет в воспоминаниях о последних днях своего друга Лев Дейч, – он обращался ко мне с вопросом, глубоко мучившим его: “Не слишком ли рано мы в отсталой, полуазиатской России начали пропаганду марксизма?”» Как бы подводя итог своей жизни, этот человек, умирая от туберкулезной лихорадки, будет просить читать ему вслух греческих поэтов, а в предсмертном бреду, задыхаясь, погрозит кому-то бессильным кулаком.

С началом войны нейтральная конфедерация – удобная ступенька к «великому Октябрю». «Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базеле слышен даже шум канонады, – вспоминает Троцкий, активист Швейцарской социал-демократической партии. – Но всё же обширный гельветический пансион, озабоченный, главным образом, избыт-

ком сыра и недостатком картофеля, напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны».

Другой будущий основатель русской Утопии, любитель альпийских прогулок, учит неразумных швейцарских социалистов: «Есть только один лозунг, который вы должны немедленно распространять в Швейцарии, как и во всех других странах: вооруженное восстание!» Нобсу, председателю цюрихских социал-демократов, Ленин заявляет: «Швейцария – самая революционная страна в мире». Опешившему редактору социалистической газеты вождь большевиков объясняет, что ведь у каждого швейцарца, согласно вековой традиции, находится дома оружие с боеприпасами. Так или иначе, поставив себе жизненную цель прийти к власти, оба ее достигнут – каждый в соответствии со своими представлениями о целях и средствах политической борьбы. Ленину до поста премьера оставались считанные месяцы. Нобс станет президентом Швейцарской Конфедерации только в 1948 году.

Скорым поездом № 263 из Цюриха через Бюлах на Шафхаузен с 3-го пути в 15:20 отправляется группа эмигрантов осуществлять Великую русскую мечту. Стефан Цвейг назовет этот послеобеденный апрельский час «звездным часом человечества».

Исторический шанс перенять «низменные» ценности «счастливых швейцарцев» Россия, нацепив на фрак красный бант и забросав шахту, откуда доносилась молитва, гранатами, упустила.

Против излучаемой Утопией идеологии, замахнувшейся на собственность, гельветы проявляют отменный иммунитет. Горстка швейцарских коммунистов, не имея никаких шансов на успех в своем отечестве, отправляется на восток во главе с Платтенем строить свой земной рай – они добираются лишь до чистилища. В августе 1937-го будет арестована жена Платтена Берта, а в марте 1938-го он сам за связь с врагом народа – собственной супругой. В последнем письме из заполярного лагеря за несколько дней до смерти швейцарец нацарапает знакомой: «Я, дорогая Оля, сейчас лежу в больнице. Я был сильно слабый и пухлый, но сейчас всё лучше и лучше».

Для нескольких закупоренных поколений Швейцария становится лишь отвлеченным понятием из учебника истории – там Вождь готовил Великий Переворот. Виктор Некрасов, лауреат Сталинской премии, оказавшись в женевской эмиграции, сохранит открытку с изображением Шильонского замка.

«С некоторым удивлением обнаружил я ее за стеклом газетного киоска на Крещатике, у выхода из Пассажа, – вспоминает он в книге “По обе стороны стены”. – Купив ее, прочитал на обороте: “По Ленинским местам. Шильонский замок. Его посетили летом такого-то года В.И. Ленин и Н.К. Крупская”. Оставшись в Швейцарии, я сразу же последовал их примеру. И, стоя в мрачном подземелье перед колонной, к которой прикован был Бонивар, я думал о Байроне – родись он на полстолетия позже, знал бы он, чем на самом деле знаменит этот замок, а то какой-то там Шильонский узник...»

Когда режим кажется вечным и строй прочным, два русских путешественника договариваются о встрече на берегу Женевского озера. Два титана русской словесности с видом на швейцарское жительство. Один прямиком из пропахшей потом и страхом московской тюрьмы, другой – инопланетянин с Зембли. Один – всеобъятный эзк, победивший собственный рак и почуявший призвание сокрушить Утопию, другой – коллекционер насекомой и человеческой лепидоптеры, успевший вовремя оставить три тонущие страны. Этой нейтральной территории суждено было стать местом их встречи, и она становится местом их невстречи.

Когда у короля экрана, поселившегося на старости лет в Швейцарии, спросили, почему он выбрал именно берег Женевского озера, тот ответил: «Потому что я это заслужил всей моей жизнью». Что-то подобное мог сказать про себя самый «швейцарский» русский писатель, выбравший для жизни и смерти Монтрё.

Постоялец шестикомнатного люкса в «Монтрё-Палас» называет это свое последнее убежище “unreal estate”. Когда-то, в далекие полунищие двадцатые годы, на вопрос, где бы он хотел жить, обитатель берлинских эмигрантских номеров ответил: «В большом комфортабельном отеле». Теперь в роскошной ванной комнате, отделанной в стиле *fin du siècle*, рядом с унитазом постоянно стоит шахматная доска с расставленными фигурами, а на полу каждый раз появляется новый коврик с днем недели на случай, если, глядя в окно на Лак-Леман и Савойские Альпы, гость забудет о времени.

Набоков в Швейцарии – оптимальное решение шахматной задачи на жизненной доске, приведение после нескольких цугцвангов своего короля, изгнанного из петербургского детства, в единственную безопасную счастливую клетку. «Высшие интересы» разорили его отеческий дом, расстреляли поэтов, изгнали профессоров, упразднили не только «ять», но кастрировали сам язык. Вся его жизнь – спасение своей семьи, своего языка и рукописей-карточек от идеологий и режимов. Своим героям он дарит край, где можно жить и умереть просто от частной жизни – без помощи тиранов. Себе он дарит страну «счастливых швейцаров».

Солженицын в Швейцарии – ментальное недоразумение, недосмотр верховного программиста, быстро исправленный адвокатами. Он переезжает из Цюриха в наминавший рязанский лес Вермонт не только потому, что не хотел кормить «Архипелагом» швейцарских налоговых чиновников, но и потому, что швейцарские законы о беженцах делали невозможной борьбу. Его слово было предназначено для битвы. Сперва его книги должны были сокрушить режим, потом должен был вернуться победителем он сам.

На оси Карамзин – Нечаев они занимают полярные позиции. Два взаимоисключающих кода поведения по отношению к родной мясорубке. Мужественный Борец и несгибаемый Дезертир.

По максимовской версии, Солженицыны сообщают в письме предполагаемое время их визита, и Набоков записывает в дневнике: «6 октября, 11.00 Солженицын с женой», – не предполагая, что тот ждет ответного подтверждения. Ко времени отъезда Солженицыных из Цюриха ответа из Монтрё нет. Не зная, что означает молчание, Солженицыны приезжают в Монтрё, подходят к отелю и решают ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть. В это время Набоковы сидят целый час в ожидании гостей – был заказан в ресторане ланч, – не понимая, почему их нет. Владимир Максимов, встретившийся потом и с тем, и с другим, пытается прояснить очевидное недоразумение, но после этого случая ни Набоков, ни Солженицын уже не проявляют интереса к взаимным контактам.

Русские мойры следят, чтобы параллельные миры не пересекались даже в Швейцарии. Режим пал. Но кто все-таки сокрушил Утопию? Борцы? Или дезертиры?

И вот снова русские за границей.

«Их везде много, особенно в хороших отелях. Узнавать русских всё еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго – с соседями, они едят с ножа, военные похожи на немцев, но отличаются от них дерзким затылком, с оригинальной щетинкой, дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за *table d'hôte*’ом и проч.». Цитата из Герцена, но звучит актуально и через полтора столетия.

Русские в образе мира давосского кельнера – это те, кто дает на чай сумму большую, чем стоимость заказа.

Бизнесмены с повадками паханов ринулись в Цюрих. Их девиз: открыть счет в банке на Банхофштрассе – приобщиться к общечеловеческим ценностям.

В книге «Введение в историю европейскую...», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1718 году, уже упоминается пословица: “Point d’argent, point de Suisse” с переводом: «Сие есть: нет денег, нет гельветов». Швейцарские банки есть символ победы человека над временем. Некогда, перед отъездом в Россию, Ленин, будучи клиентом Цюрихского кантонального банка, снял свой вклад, а сберегательную книжку с остатками в размере 5 франков и 5 сантимов вручил Раисе Харитоновой, жене секретаря цюрихской секции большевиков Моисея Харитонова, для уплаты партийных взносов. В своих мемуарах Харитонова описывает, как она пришла в банк и предъявила служащему в окошке ленинскую сберкнижку.

«– В. Ульянов. Как? Тот самый Ульянов, который жил как политический эмигрант у нас в Цюрихе, а сейчас в России стал таким знаменитым человеком? Ульянов, о котором пишут во всех газетах?! – воскликнул он.

– Да, – ответила я как можно сдержаннее. – Это тот самый Ульянов, политический эмигрант, который проживал в старом Цюрихе, на Шпигельгассе, 14, у сапожного мастера Каммерера. Теперь он после долгих лет изгнания вернулся в Россию, чтобы вместе с народом добиться свободы и счастливой жизни для своей страны».

Служащие банка сбегаются поглядеть на сберкнижку русской знаменитости.

«Все рассматривают, дивятся.

– Что же, – обратился ко мне наконец главный кассир, возвращая сберкнижку, – можете закрыть счет и получить этот вклад.

– Нет, благодарю вас, – ответила я. – Не для того я пришла к вам, чтобы получить вклад в 5 франков. Эту сберкнижку я увезу с собой на родину – в Россию, а вклад пусть остается в банке Швейцарии. Невелик вклад, но зато велик его вкладчик. Мне лишь хотелось, чтобы вы узнали об этом.

Я попрощалась и пошла к выходу. Оглянувшись, я увидела изумленных клерков; они всё еще стояли у окна главного кассира».

На родине великого вкладчика по многу раз сменились не только деньги, системы, режимы, официальные идеологии, названия страны, но и сама страна успела рассыпаться, снова собраться и снова рассыпаться. А в Кантональном банке на Банхофштрассе методично из десятилетия в десятилетие начислялись проценты. Счет № 611361 пережил и вкладчика, и созданную им Утопию и будет и дальше дожидаться наследников Ильича.

«Высшие интересы» преходящи, в отличие от франка.

Во время войны в Швейцарию бежали из Германии русские военнопленные и угнанные на работы. В августе 1945 года в Швейцарии в 75 лагерях находилось около восьми тысяч интернированных из Советского Союза.

Около ста из них были размещены в открывшемся 8 декабря 1942 года лагере в Андельфингене, где они занимались раскорчевкой и строительством дороги. На карманные расходы они получали по 20 франков ежемесячно, к их услугам были библиотека, радио, музыкальные инструменты, показывались советские фильмы, устраивались экскурсии в Цюрих, в музеи, зоопарк, на озеро.

Регина Кэги-Фуксман работала в лагере уполномоченной швейцарской организации помощи беженцам. Она оставила воспоминания. «Русские попросили разрешения у центрального управления лагерем не работать в День Красной армии, который считается в Советской России главным праздником, и устроить концерт в гастхофе в Андельфингене, ближайшей к лагерю деревне. Они хотели пригласить тех, кто занимался вопросами бежен-

цев, жителей деревни и своих воскресных друзей из Цюриха». Просьба русских была удовлетворена, за исключением того, что до обеда они от работ не освобождались, что обуславливалось всеобщей трудовой повинностью для всех швейцарцев даже в их национальные праздники. «Русские заявили, что в этом случае они вообще отказываются выступать и не выйдут на работу, так как это их национальный праздник. Руководство лагеря вызвало полицию и издало строгий приказ приступить к работе. <...> В назначенный день интернированные появились на завтраке в выходной одежде и отказались выйти на работу. После обеда русские построились в колонну по четыре и отправились строем из лагеря в деревню, дошли до гастхофа, где должен был состояться концерт, развернулись и двинулись маршем обратно в лагерь». Напряжение нарастало. Полученный на обед шпинат сыграл роль детонатора. «Все тарелки со шпинатом они повыбрасывали в окно столовой. Шпинатом, вероятно, в России кормят свиней, и русские чувствовали себя оскорбленными в своей чести советского солдата». Интернированные отказались вообще выходить на работу и объявили голодную забастовку. «Лагерь был окружен солдатами, против русских выставили пулеметы». Несколько человек были арестованы, лагерь расформировали, большинство отправили в другой лагерь в горном отдаленном Рароне.

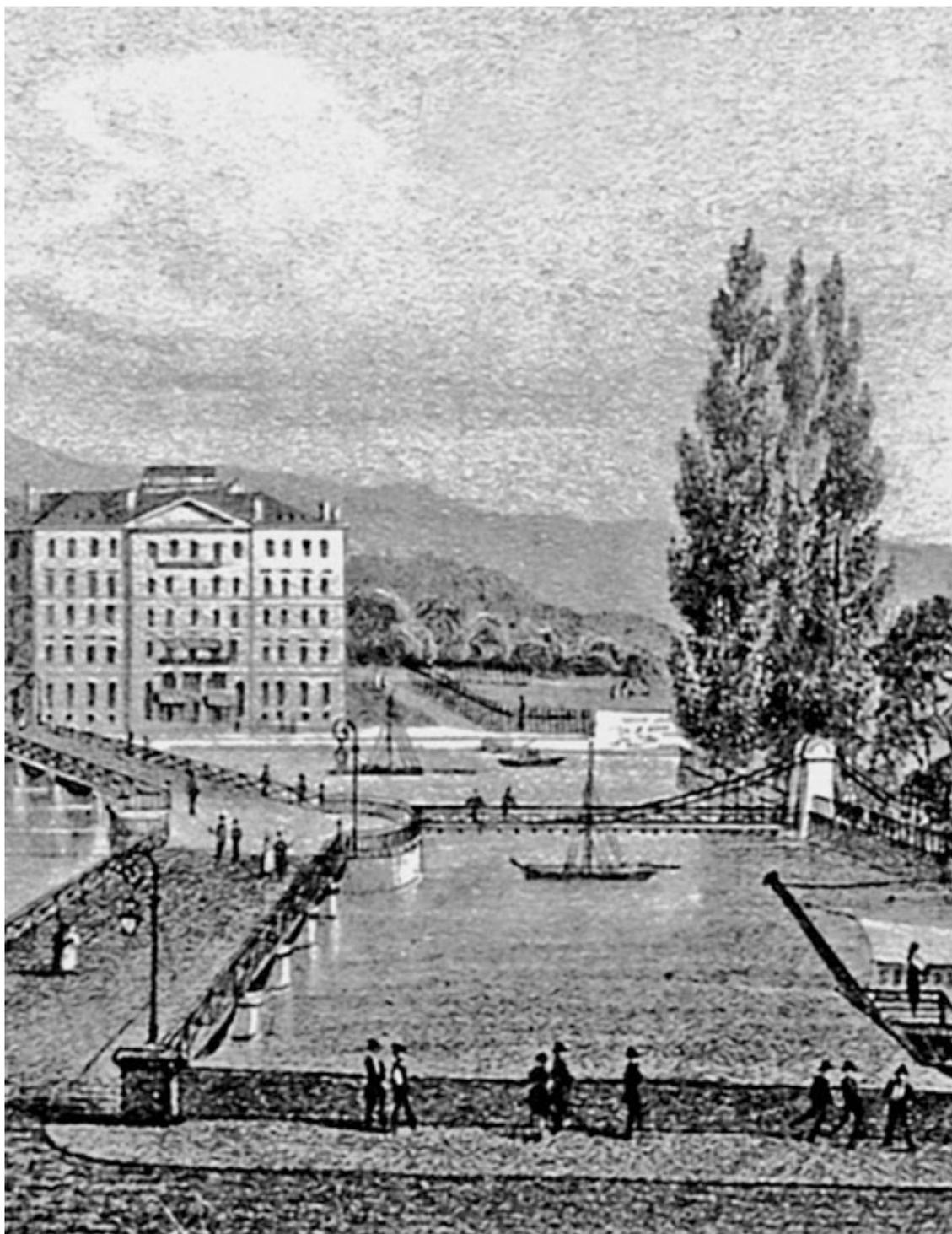
С окончанием войны встал вопрос о репатриации почти восьми тысяч русских. Каждому в лагерях представители советской комиссии вручили брошюру под названием «Родина ждет вас, товарищи». Кто не хотел возвращаться, мог остаться в Швейцарии – так поступили лишь около пятидесяти человек. Почти все отправились на родину добровольно. Кэги-Фуксман: «Одна милая медсестра во время подготовки к отъезду пару недель жила у меня. Она сказала мне: “Мы все погибнем. Россия не может себе позволить снова принять так много людей, которые увидели Запад. Если я буду жива, я вам напишу”. Я получила из Зальцбурга открытку без подписи: “Прощайте!” Больше я от нее никогда ничего не слышала».

Толстой, «Люцерн»: «Бесконечна благость и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».

II. Русская столица Швейцарии. Женева

«Женеву я знаю с давних лет. Я слишком ее знаю. – Скажите, пожалуйста, как бы мне сделать, – говорила одна дама, соотечественница наша, не без угрызения совести, – как бы сделать, чтобы полюбить Швейцарию? Задача была нелегкая, несмотря на то, что есть множество причин, по которым Швейцарию следует любить. – А вы куда едете? – спросил я ее. – В Женеву. – Как можно, вы уж лучше поезжайте в другое место. – Куда же? – В Люцерн или что-нибудь такое. – Неужели там лучше? – Нет, гораздо хуже, но там вы скорее дойдете до разрешения вашей задачи. В самом деле, в Женеве все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго».

А.И. Герцен. «Скуки ради»



Самый русский город Швейцарии – Женева. Ее больше всего проклинают, ее чаще всего выбирают.

«В Женеве я прожил больше месяца, но наконец не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Tobольск». Это Гоголь.

Чаадаев, встретив в книге Лапласа «Философский опыт о вероятностях» описание мучительного желания покончить с собой, бросившись в пропасть, отмечает на полях: «Я испытал это в Женеве».

Достоевский пишет Майкову: «Это ужас, а не город! Это Кайена. Ветры и вихри по целым дням, а в обыкновенные дни самые внезапные перемены погоды, раза по три, по четыре в продолжение дня. Это геморрадалисту-то и эпилептику! И как здесь грустно, как

здесь мрачно. И какие здесь самолюбивые хвастунишки. Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным. Всё здесь гадко, гнило, всё здесь дорого. Всё здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет. И всё у них, каждая тумба своя, – изящна и величественна».

«Грустно, черт побери, снова вернуться в проклятую Женеву. У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал». Цитата из Ленина.

И все-таки едут, едут, едут.

Кто впервые заговорил по-русски на берегу Лемана, навсегда останется скрыто туманом истории. Официальные же отношения между Женевской республикой и Посольским приказом в Москве были установлены в 1687 году – магистрат Женевы и царь Иван V Алексеевич обменялись посланиями. Поводом, кстати, послужила благодарность магистрата за высокую оценку службы Лефортова в России.

Княгиня Дашкова, приехав во время своего первого заграничного путешествия в 1771 году в Женеву, встречает здесь девяностолетнего старца, может быть, первого русского женева – Авраама Павловича Веселовского. Русский дипломат в Вене, он участвует в интриге, связанной с возвращением бежавшего царевича Алексея в Россию. Страшась гнева Петра I, Веселовский становится невозвращенцем, скрывается сперва в Голландии, потом в Швейцарии. В 1741 году он женится на гражданке Женевы Марианне Фабри и делается не только первым русским гелветом, но и первой местной русской достопримечательностью – с ним ищут знакомства русские путешественники, как с диковинкой. А количество их всё увеличивается. На берега Лемана приезжают зимовать из Парижа и Берлина. Бонштеттен, женевский интеллектуал, которого считает своим долгом посетить всякий образованный москвит, замечает в одном из писем уже в 1760-е годы, что в Женеве много русских.

В «Журнале путешествия его высокородия г-на статского сов. и ордена Св. Станислава кавалера Н.А. Демидова по иностранным государствам», изданном в Москве в 1786 году, описывается между прочим посещение кавалером Женевы. Секретарь Никиты Акинфиевича Демидова (дневники русских вельмож ведутся еще их учеными секретарями) рассказывает о пребывании своего хозяина в 1772–1773 годах на Лемане, дает описание государственного устройства «купечественной республики», но большее внимание уделяется пока не чудесам демократии, а натуры. Русские удивляются «разновидности и действию природы», поминают поразившие их «вершины гор, бездны пропастей; ветры, облака и грома, здесь происходимые; снега, льды, протоки, каскады, озера, рудники, огнедышащие горы (sic! – М.Ш.), рытвины, леса, свет и тень...». Тем не менее главным переживанием является покупка золотых часов и канифаса, а также незабвенным остается воспоминание о «Женевского озера рыбе форели отменной величины и вкуса».

В Женеве академия. Неиспорченные строгие нравы города Кальвина, высокий уровень профессоров, доступность языка – все условия для того, чтобы русская аристократия посылала сюда своих чад учиться. Здесь посещает лекции юный Александр Строганов – будущий президент Петербургской академии искусств и директор Публичной библиотеки. Здесь проходят курс наук братья Демидовы, из которых больше других прославится Павел Григорьевич – соберет огромную библиотеку, станет основателем Ботанического сада в Москве, одним из первых русских меценатов, собирателем произведений искусства, свое собрание книг и мюнц-кабинет он подарит Московскому университету.

За три года до Карамзина в Женеву приезжает учиться Строганов-младший, Григорий Александрович, будущий русский посланник в Стокгольме и Константинополе, со своим крепостным – в будущем строителем Казанского собора в Петербурге Андреем Ворониным. Только устроившись, Строганов сообщает отцу: «Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». Через несколько месяцев: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна». Однако

вскоре молодые люди находят для себя более интересные занятия. Во Франции революция. Русские студенты отправляются в Париж и участвуют в собраниях якобинских клубов. К ним приезжает из Женевы Карамзин, ни словом не обмолвившись об этом в своих «Письмах». Подробно описывая самые мелкие детали своего путешествия по Швейцарии, в главе о Женеве, где он, как утверждал, провел всю зиму, Карамзин ограничивается самыми общими замечаниями: «Окрестности женеvские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые дома. Образ жизни женеvцев свободен и приятен – чего же лучше?»

В XIX веке Женева еще больше входит в моду. Русское население ее растет, особенно в годы, когда Париж относится к «подозрительным» городам для граждан империи. «Тут я нашел огромное русское общество, потому что пребывание в Париже русским в том году было воспрещено», – вспоминает Александр Кошелев, один из тех, кто будет готовить русские либеральные реформы, о зиме 1831/32 года, когда посещал лекции в академии в одно время со Степаном Шевыревым, будущим известным публицистом-славянофилом. Кошелев «прибыл на зимовье в Женеву», после того как «исходил пешком Оберланд». О русской Женеве читаем дальше: «Русское общество в эту зиму было в Женеве очень многочисленно; были: полдюжины Нарышкиных, столько же, коли не больше, князей и княгинь Голицыных и много разного калибра военных, статских и отставных русских...»

В Женеве живет некоторое время Николай Иванович Тургенев – еще один знаменитый «невозвращенец», автор известной в свое время книги «Россия и русские» (“La Russie et les Russes”). Будучи косвенно замешан в дело декабристов, он отказывается вернуться в Россию на требование следственной комиссии и до конца своей долгой жизни остается эмигрантом. В Швейцарии он знакомится со своей будущей супругой Кларой Виарис и женится на ней в Женеве в 1833 году. Александр II амнистирует Тургенева вместе с другими декабристами, возвращает ему чины и дворянское достоинство и разрешает вернуться на родину. Однако в России Тургенев долго не задержится и предпочтет провести старость в Париже.



Н.И. Тургенев

Летом 1836 года во время своего швейцарского путешествия приезжает в Женеву Гоголь. Писатель проводит в Швейцарии три месяца – с середины августа по начало ноября. 23 августа он пишет матери из Женевы: «Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву. Альпийские горы везде почти сопровождали меня. Ничего лучшего я не видывал». Однако в

другом письме о швейцарских красотах Гоголь отзывается совсем в других тонах: «Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно». Но в том же письме он всё же выделяет город на Роне: «Женева лучше и огромнее их и остановила меня тем, что в ней есть что-то столично-европейское». В самой Женеве писатель выдерживает недолго – «Мертвые души», пришедшие к нему еще в России, зовут к письменному столу, и он выискивает для работы над книгой маленький городок на берегу Лемана. В письме 12 ноября Жуковскому он напишет: «Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве».

В Женеву приезжают не просто отдохнуть, доживать или зимовать, но и фрондировать. Не прижившись при новом царствовании, переселяется в Швейцарию герой войны 1812 года однорукий граф Александр Иванович Остерман-Толстой – левую руку оторвало ему в бою под Кульмом. Первое время граф живет со своей челядью в облюбованном русской знатью самом роскошном женевском отеле того времени «Де-Берг» (“Des Bergues”, quai des Bergues, 33), потом приезжает его супруга, урожденная Голицына, и они снимают квартиры в аристократических кварталах. Местная демократическая знать ищет знакомства с «настоящим» графом, но русский дворянин относится к соседям скептически. «Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве, – пишет Герцен. – Аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов. – Ну, помилуйте, сударь мой, – говорил он мне в 1849 году, – какая же это аристократия – будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает des litres; и origine богатства какой – один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе...» Однако аристократический снобизм не мешает старому вояке в дни восстания женевцев под руководством Фази в 1846 году, по рассказу того же Герцена, помогать повстанцам военными советами. Похоронен женевский граф на кладбище «Пти-Саконнэ» (“Petit Saconnex”).

На адрес отеля «Де-Берг» приходит почта для Герцена во время его женевских остановок до переселения на берега Лемана. Например, в июне 1849 года он занимает здесь целый этаж.

Здесь же останавливается в 1857 году Лев Толстой, приехав из Парижа. В Женеве он спасается от парижской «грязи» и принимает серные ванны. Свою поездку в Швейцарию писатель объясняет, в частности, в письме сестре 2 мая 1857 года из Кларана. Толстой присутствовал во Франции на гильотинировании, которое произвело на него такое впечатление, что он не мог заснуть. Ему хотелось уехать куда-нибудь в тихое место, чтобы отдохнуть от переживаний в «Содоме». На решение поехать именно в Женеву повлияло то, что здесь в то время находилась кузина его отца, графиня Александра Андреевна Толстая.

Александрин Толстая служила фрейлиной при дворе великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, и проживала в то время вместе с великокняжеской семьей на вилле Бокаж, куда Толстой наносил ей визиты. Запись из дневника: «10 апреля. Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы, опоздал говеть, сделал покупки, был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность, да и все они, кажется. Vosage – прелесть. Целый день читал “Cousine Bette”, но был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий. В 28 лет глупый мальчуган».

Пять заглавий произведений, над которыми Толстой собирается работать в Женеве: 1) «Отъездное поле»; 2) «Юность»; 3) «Беглец» («Казачи»); 4) «Погибший» («Альберт»); 5) «Семейное счастье».

Первоначально писатель предполагал пробыть в Женеве лишь несколько дней, но вскоре планы его изменились. 11 апреля он пишет Т.А. Ергольской в Россию: «Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше».

В обществе тетки Толстой гуляет по окрестностям города. 11 мая он записывает: «К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело. Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура».

Александрин Толстая так вспоминает об этих прогулках: «Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом».

В Женеве Толстой знакомится с Пуциными и потом, отправившись с теткой на корабле в Кларан, поселится с ними в одном пансионе.

Посещает Толстой знаменитого в то время в России женевского живописца Александра Калама. Об известности Калама говорит уже то, что к нему специально ездили учиться русские художники-пейзажисты, в его мастерской бывали, например, Иван Шишкин, Алексей Боголюбов, Арсений Мещерский. Последний получил, кстати, золотую медаль Петербургской академии за швейцарский вид «Льды в Ландеке». Интересно, что в том же 1857 году приезжает в Женеву учиться живописи у Калама поэт Яков Полонский, но остается в мастерской художника ненадолго. Кстати, восхищение швейцарской природой нашло отражение в написанном поэтом стихотворении «На Женевском озере». В том же 1857 году посещает Калама и Лев Жемчужников, гравер и живописец, брат автора Козьмы Пруткова. «Я застал Калама в собственном его доме, за работою, – пишет Жемчужников в мемуарах “Мои воспоминания из прошлого”. – Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал о его работах, присланных в Петербургскую академию и перед которыми К.П. Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись... Глядя на его работу, я чувствовал, как жар мой постепенно остывал и заученная его манера мне опротивела. Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня».

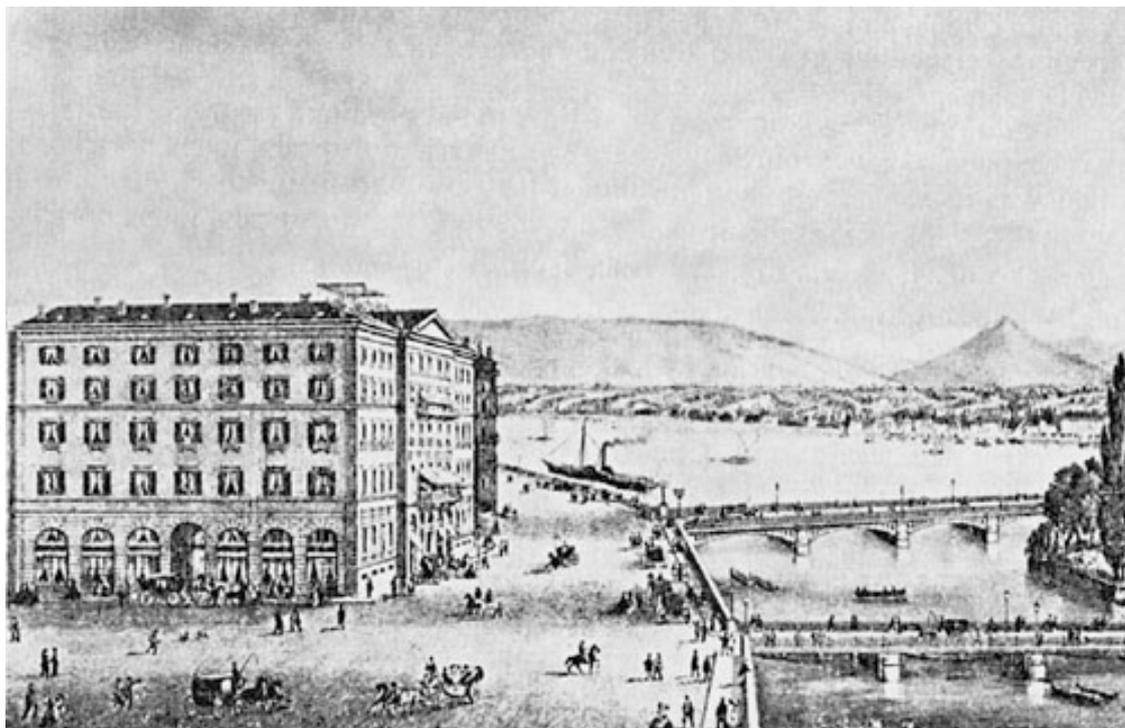
Толстой после посещения мастерской пишет Александрин Толстой 13 мая: «Ваш Калам показался мне ограниченный человек и даже с некоторой тупизной, но чрезвычайно почтенный и талант громадный, который я не умел ценить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, и поэзии гармонической. Вообще у него ума мало отпущено на талант, или талант задавил ум: он сам себя определить не может. Но таких людей только и можно любить».

Отметим, что имя русского писателя осталось увековеченным на карте города – женеvцы назвали в честь Толстого одну из своих улиц.



Ф.И. Тютчев

В отеле «Де-Берг» останавливается во время своих приездов и Тютчев. В 1864 году он уезжает за границу в надежде, что далекое путешествие поможет пережить ему утрату – смерть Елены Денисьевой, его трагической поздней любви. В Женеве он соединяется со своей оставленной женой Эрнестиной и дочерью Марией, думая найти утешение в лоне семьи. Эрнестина встречает мужа на перроне Женевского вокзала. Дочь Анна пишет со слов очевидца сестре: «...Папа и мама очень хорошо встретились. Надо надеяться, что теперь, обрета и домашний круг, и развлечения, папа успокоится, а мама, владея им отныне безраздельно, тоже будет довольна».



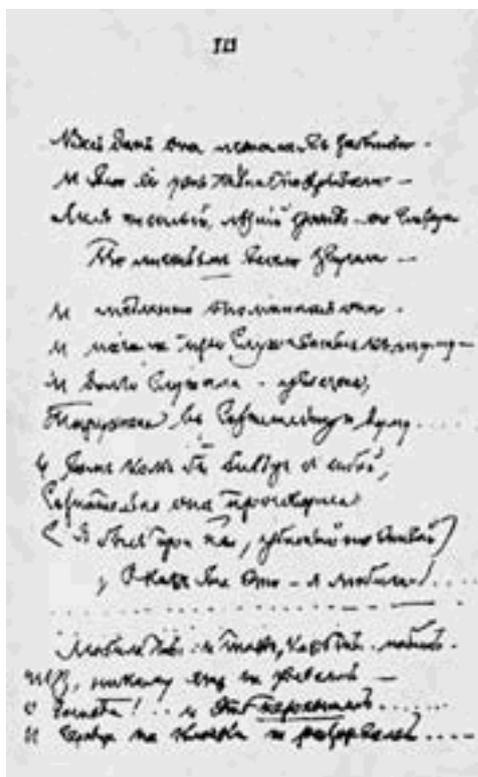
Отель «Де-Берг» в Женеве

Увы, идиллии не выходит. Тень умершей преследует старого поэта.

В номере отеля, выходящего окнами на Рону, Тютчев пишет дочери Дарье в сентябре 1864 года: «Сегодня шесть недель, что ее нет, – и я всё меньше и меньше понимаю мир, в котором жил до тех пор... Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски, дабы я смог вновь обрести самого себя, смог почувствовать всё то, что он мне еще оставил, – искренние и преданные привязанности, которых я так мало заслуживаю...»

Через несколько дней Георгиевскому, родственнику Денисьевой: «Так вы тесно связаны с памятью о ней, а память ее – это то же, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется... Гноится рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне всё равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я создавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество...»

Мария записывает в дневнике 23 октября: «Превосходная погода... Папа, вернувшись, продиктовал мне стихи. <...> Горы были как на ладони». Тютчев диктует дочери одно из своих лучших стихотворений «Утихла биза...».



Автограф стихотворения Ф.И. Тютчева «Утихла биза...»

Среди именитых русских женецев, кто не мог позволить себе жить в «Де-Берг», – Федор Михайлович Достоевский. Первый раз в Женеве Достоевский был со Страховым проездом в 1862 году, второй, тоже проездом в Италию, в 1863-м с Аполлинарией Суловой – сестрой знаменитой первой цюрихской студентки Надежды Суловой. У этого посещения Женевы своя предыстория. В мае 1863-го журнал, выпускавшийся писателем, закрывается, и в августе вместе с молодой писательницей Аполлинарией Суловой, его мучительной любовью, Достоевский отправляется в заграничное путешествие. На родине остается брошенная жена Мария Дмитриевна Исаева. Сулова уезжает раньше, с тем чтобы ожидать Достоевского в Париже. Туда писатель несколько запаздывает, поскольку путь его лежит через казино в Висбадене. Во Франции его ждет малоприятный сюрприз. Оказывается, что

молодая женщина успела тем временем влюбиться в испанского студента. Однако горение страстей скоротечно. Сулова все-таки решает ехать с Достоевским в Италию, но по дороге делается крюк, чтобы проиграть в Баден-Бадене на рулетке почти все предполагавшиеся на поездку деньги – три с половиной тысячи рублей. Летят в Россию умоляющие письма о присылке денег. В Женеве вынужденная остановка. Здесь Достоевский закладывает свои часы, она – украшения. Впрочем, мучения писателей, как известно, кормят литературу. Баденский проигрыш рождает «Игрока», а путешествие с Суловой, в котором они изрядно помучили друг друга, дарит русской словесности «Записки из подполья». Женщина, с которой Достоевский делит женевское безденежье и вид на Монблан 1863 года, сыграет еще одну роль в русской литературе, но не столько своими позабытыми повестями, сколько тем, что станет женой и мучительницей, а значит и музой, другого гения – Василия Васильевича Розанова. Розанов женится в двадцать четыре года на сорокалетней Суловой и потом в течение двадцати лет будет безуспешно пытаться добиться от нее развода, так что дети его от второй жены не могли носить фамилии отца.

И вот третий приезд Достоевского в Женеву – в августе 1868 года.

В 1867 году писатель женится на своей стенографистке Анне Сниткиной. Разница в двадцать пять лет только подчеркивает удачность выбора на этот раз. В отличие от демонической, наполнявшей собой мир без остатка Суловой, стенографистка представляет собой олицетворение писательской мечты, растворяется целиком в интересах мужа и является как бы прообразом еще не написанной чеховской «Душечки».

Через два месяца после свадьбы молодые отправляются в Европу. Предполагается кратковременное пребывание за границей, которое затягивается на четыре года.

«...Почему в Женеву? А почему я знаю; не всё ли равно». Это из письма Майкову. Супруги полны надежд. Он привозит с собой замысел романа, она – будущего ребенка.



А.Г. Достоевская

«Приехав в Женеву, – пишет Достоевская, – мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много *chambres garnies* без всякого благоприятного результата: комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу *rue Guillaume Tell* и *rue Berteiller* (правильно: *rue Berthelie* Nr. 1 и угол *rue Guillaume Tell*. – *М.Ш.*), во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы *m-lles*

Raymondin. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы не колеблясь решились у них поселиться».

Достоевский начинает работу над «Идиотом».

«И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на rue du Mont-Blanc, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением “Голоса”, “Московских” и “Петербургских ведомостей”. Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны. Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы».

Нехватка денег сперва не очень беспокоит молодоженов.

«Начали мы нашу женеvскую жизнь, – продолжает Анна Григорьевна, – с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали, – жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной».

Неприятные сюрпризы начинаются с погодой. Майкову 15 сентября: «Как только переехал в Женеву, тотчас же начались припадки, да какие! – как в Петербурге. Каждые 10 дней по припадку, а потом дней 5 не опомнюсь. Пропаций я человек! Климат в Женеве сквернейший, и в настоящую минуту у нас уже 4 дня вихрь, да такой, что и в Петербурге разве только раз в год бывает. А холод – ужас!» «Климат в Женеве для меня очень скверный, – пишет Достоевский в сентябре вдове брата. – В Германии припадки были редкие, а в Женеве не опомнюсь, чуть не каждую неделю. Все эти горы и непрерывные перемены в атмосфере. Надобно выехать».

Мысль оставить Женеву начинает преследовать его постоянно. К припадкам примешивается безденежье. Из первого же письма Майкову видно, что женеvская жизнь с самого начала была для него не столь «приятной», как для юной супруги: «В Женеву-то мы переехали, наняли *chambre garnie* у двух старух и теперь, т. е. на четвертый день, у нас всего капитала 18 франков». В том же письме сразу начинаются просьбы о деньгах, основной лейтмотив швейцарской жизни Достоевских. Писатель просит выслать 150 рублей: «Голубчик, спасите меня! Заслужу Вам вовеки дружбой и привязанностью. Если у Вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу: но ведь я утопающий!»

Безденежье – изнуряющее, унижительное и для него, и для нее. Из дневника Анны Григорьевны: 18 сентября – «Он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас нечем было обедать». 27 сентября – молодая, желающая нравиться женщина заходит в магазин: «Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить... Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие одни только кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь». 17 октября – «Как мы ни сэкономили, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра

выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег. Идти с такой вещью, которая в их глазах не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а пожалуй, и совсем откажут дать денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь портной смеет взять над тобой вид превосходства».

Каждый день Достоевские ходят на почту, ждут писем, которые приходят к ним сюда до востребования. Мать Анны Григорьевны присылает письма нефранкированными, нужно доплачивать. Федор Михайлович выговаривает супруге. Теперь она старается под разными предложениями незаметно от мужа пораньше прийти на почту и взять письма от матери, пока он не видит.

При этом, когда из России приходят деньги «утопающему», всё проигрывается на рулетке. В октябре 1867 года Достоевский бросается в Саксон-ле-Бэн (Saxon les Bains) и возвращается без пальто, без обручального кольца. Снова отчаянные письма Каткову о присылке денег. Снова жена закладывает одно платье за другим. Каждый раз с получением переводов из России повторяется та же история. Достоевский ездит играть еще два раза – в ноябре 1867-го и в апреле 1868-го – с тем же результатом. В дневнике Анна Григорьевна умоляет мужа не ездить, в воспоминаниях, наоборот, сама подает ему идею: «Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, – вспоминает преданная жена, – я подала ему мысль съездить в Saxon les Bains вновь “попытать счастья” на рулетке. <...> Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре-ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Saxon. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат». Вернувшись в Женеву, Достоевский за три недели написал около шести печатных листов романа для публикации в «Русском вестнике».

Пример «Игрока», написанного после чудовищного проигрыша, не дает покоя. Без игры присылаемых денег вполне хватило бы на безбедное существование, но, видно, путь к вдохновению ищется через отчаяние. Исчезают издательские авансы, сроки отсылки рукописи не выдерживаются. Счет идет на дни, на часы. В ноябре закончена первая часть «Идиота», но – очередное падение в пропасть, и в письме Майкову писатель сообщает, что 4 декабря бросил всё и начал роман заново.

Город, ставший декорацией этой драмы, делается ненавистным. Вызывает раздражение всё кругом без исключения. Достоевские практически ни с кем не общаются. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, – пишет в воспоминаниях Анна Григорьевна. – Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н.П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению».

В то же время в Женеве проживает Герцен, но ни один из них не ищет возобновления знакомства. Город невелик, встречи избежать невозможно. Они сталкиваются на улице. Достоевский – Майкову: «Никого-то не знаю здесь и рад тому. С нашими умниками противно и встретиться. О бедные, о ничтожные, о дрянь, распухшая от самолюбия, о говно! Противно! С Герценом случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками да и разошлись». Герцен отвечает взаимностью и пишет Огареву: «Роман Достоевского я частью читал в “Русском вестнике” – в нем много нелепого». Речь идет о «Преступлении и наказании».

Приближаются роды, надо готовить мир к приему нового человека. «В половине декабря 1867 мы, в ожидании моего разрешения от бремени, переселились на другую квартиру, на rue du Mont-Blanc, рядом, около англиканской церкви. На этот раз мы взяли две комнаты, из них одну очень большую, в четыре окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять garde-malade (сиделку. – *М.Ш.*) для ухода за ребенком и за мной во время болезни».

На новой квартире давление романа усиливается. Из письма племяннице Соне Ивановой: «Я занят ужасно, измучен заботой, а главное непрерывно мыслю, что вот не успею выслать в редакцию продолжение романа, вот опоздаю». Майкову: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять. Нет, слава Богу, вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского мучения».

Жалобы на безденежье в письмах не прекращаются. П.А. Исаеву: «Нуждаюсь ужасно и постоянно. Живем копейками; всё заложили. Анна Григорьевна теперь уж на последних часах. Думаю, не родит ли сегодня в ночь?»

И вот долгожданный момент наступает. Анна Григорьевна: «В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 года, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие». Роды совпадают с приступом падучей. После внезапной перемены погоды у Достоевского начинаются припадки эпилепсии. Измучившись, он засыпает. А уже идут схватки.

«Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил:

– Что с тобой, Анечка?

– Кажется, началось, я очень страдаю! – ответила я.

– Как мне тебя жалко, дорогая моя! – самым жалостливым голосом проговорил мой муж, и вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно расстрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность».

Только к утру, придя в себя, Достоевский бежит за акушеркой. Служанка отказывается будить ее. Достоевский «пригрозил, что будет продолжать звонить и выбьет стекла». Акушерку привозят, та осматривает Анну Григорьевну, делает выговор, что ее так рано побеспокоили, и обещает приехать вечером. «В обещанный час m-me Barraud не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала». Через некоторое время Достоевский снова отправляется к женевской повивальной бабке – та сидит с друзьями за семейным лото. «M-me Barraud была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, – вспоминает Достоевская, – и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: “Oh, ces russes, ces russes!”»

Роды продолжают тридцать три часа. Родается девочка – 5 марта (22 февраля) 1868 года. Ее называют Соней.



Соня Достоевская

«Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был всё время мой муж, и опять повторила: “Oh, ces russes, ces russes!”»

Для Достоевских начинается новая, полная бессонницы и волнений жизнь родителей. «К моему большому счастью, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только слышит ее голосок». Достоевский – Майкову: «А Ваша крестница – сообщаю Вам – прехорошенькая, несмотря на то, что до невозможного, до смешного даже похожа на меня. Даже до странности. Я бы этому не поверил, если б не видел. Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, – лежит – точно роман сочиняет!»

С рождением ребенка нехватка денег становится особенно острой. В письме Майкову: «Я вчера заложил последнее свое пальто...» И еще: «Все до последней тряпки, моей и жены, заложены. Долги настоятельные, необходимые, немедленные». А в начале апреля – сразу же при получении денег – опять срывается на рулетку.

16 мая девочку крестят в недавно открытой русской церкви. Через неделю – 24 мая – Сонечка умирает.

Анна Григорьевна: «Погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше». И дальше: «Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали всё необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plainpalais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а

среди них был поставлен мраморный крест. Каждый день мы с мужем ходили на ее могилку, носили цветы и плакали».

Достоевский – Майкову: «Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где?»

В дневнике Анны Григорьевны есть запись, сделанная еще в сентябре, когда она беременная гуляла по городу: «Мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на Plainpalais. В середине его находится отличный костел. Мне здешнее кладбище понравилось, и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище... Здесь мне показалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники».

Достоевский приедет сюда на могилу дочери еще раз, в 1874 году, когда отправится за границу на лечение на германском курорте Бад-Эмс (Bad Ems). Надгробная плита в современном виде установлена в 1979 году.

Этот нелюбимый город принес несчастье. Первая мысль – прочь. Анна Григорьевна: «Остаться в Женеве, где всё напоминало нам Соню, было невыносимо, и мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переселиться в Vevey, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что, по недостатку средств, не могли совсем уехать из Швейцарии, которая стала для моего мужа почти ненавистна: он винил в смерти Сонечки и дурной, изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и пр. Самих швейцарцев Федор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, высказанные многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы».

Через много лет на стене этого дома по улице Монблан (rue du Mont-Blanc, 16) повесят скромную мемориальную доску, которая затеряется среди пестрой рекламы.

«Умники», столь ненавистные Достоевскому, – это русские революционеры, и прежде всего так называемая «молодая эмиграция», обосновавшаяся в Женеве. Лидер женевских «умников» – Николай Утин. О его значении для русской интеллигенции того времени можно судить по письму Достоевского Майкову из Женевы, в котором писатель называет этого молодого человека среди знаменитостей: «А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?»



Н.И. Утин

Отец Николая Утина – откупщик, миллионер-виноторговец, владелец роскошных особняков в Петербурге, не жалел денег на своих четырех сыновей. Николай получает разностороннее образование, летние месяцы семья проводит за границей, в Петербургском университете он учится на историко-филологическом факультете, пишет кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском. На ту же тему, кстати, пишет свою диссертацию знаменитый впоследствии Писарев, но победа достается Утину. Ему присуждена золотая медаль, сопернику приходится довольствоваться серебряной. Однако столь блистательное академическое начало не находит продолжения – юноша начинает участвовать в революционном университетском движении и быстро выбивается в вожаки. Апостол студенческой России Чернышевский отмечает его среди других и приближает к себе. В анонимном доносе некто сообщает: «Утин – правая рука Чернышевского». Инициатор и участник студенческих волнений в Петербурге, член «Земли и воли», Утин в 1863 году, спасаясь от ареста, бежит через Черное море на Запад. Сначала молодой человек отправляется, по тогдашней моде, на поклон к Герцену в Лондон. Желая быть полезным «делу», он занимается переправкой герценовских изданий в Россию, где заочно в 1865 году судим и приговорен к смертной казни: «Казнить смертью расстрелянием, каковое наказание исполнить над ним по поимке или по явке его в отечество». Очень быстро между ним и Герценом наступает охлаждение: Герцен отказывается печатать утинскую статью, для самолюбивого молодого человека это удар, который так просто не забывается. Поклонение меняется на скрытую пока ненависть.

Утин поселяется в Женеве, которая постепенно становится центром русской революционной эмиграции, на улице Приере (aux Râquis, rue de Prieure', 5). Молодой революционер ощущает себя призванным объединить и возглавить разрозненные силы русского «освободительного» движения и выступает с идеей объединительного съезда эмигрантов. В письмах он зовет Герцена переехать в Швейцарию из Лондона.

«Колокол» переживает не лучшие времена. Самое популярное в империи Александра Освободителя издание принесло лондонскому изгнаннику всероссийскую славу. В своих

письмах Герцен усердно пересказывает принесенный кем-то ему в Лондон анекдот, будто государь начинает свой рабочий день с прочтения герценовских статей. Однако закон непостоянства славы касается и могучего громовержца Искандера. «Колокол» резко теряет популярность в России после того, как поддерживает поляков во время польского восстания 1863 года. Герцен нарушает ту границу, где русское свободомыслие головы сталкивается с патристическим нутром, – тираж падает в пять раз. «Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в <Колоколе> статьи в пользу поляков», – вспоминает Шелгунов, один из героев того «революционно-демократического» времени. Иссякает и поток посетителей из России, устремившийся вследствие «открытия границ» после смерти Николая I на берега Альбиона, чтобы позвать руку изгнаннику-победителю.

Герцен мучительно переживает эту образовавшуюся вокруг него пустоту. Пропала уверенность, что он идет впереди России, своим блистательным пером указывая народившемуся обществу направление. Но ему кажется, что еще не всё потеряно, что он еще может нагнать, объясниться, снова стать во главе. В письмах 1864 года постоянно появляется мысль, что необходимо переехать в Швейцарию, чтобы вдохнуть в «Колокол» новую жизнь. Огареву из Женевы: «Что “Колокол” издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.»

Переезд на континент и перенос издания в Женеву – к концу 1864 года дело почти решенное. Возникает вопрос о союзниках. В декабре этого страшного для него года Герцен приезжает на так называемый Женевский конгресс – первый объединительный съезд русской эмиграции, организованный Утиным. Приезжает с похорон. 4 декабря умирает от дифтерита трехлетняя дочь Герцена Елена, через неделю, 11 декабря, сын Алексей – близнецы. В эти декабрьские дни Герцен пишет старшей дочери и ее воспитательнице: «Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти – смерти от удушья – этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику... Всё это сразу; удар за ударом... как сон...»

И вот через несколько дней – переговоры в Женеве с молодой эмиграцией. Герцен приезжает в город на Роне с Огаревым и своим старшим сыном Александром. Утин требует «Колокол» или фонд Бахметьева для издания своей газеты. Главное обвинение Герцену – старик держит монополию на революционную прессу. Герцен сначала готов поделиться, но глубоко оскорблен отсутствием уважительного к себе отношения со стороны молодых людей.

В статье «Молодая эмиграция» он дает свой взгляд на причины расхождений: «В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать». Речь идет о знаменитом таинственном спонсоре революции, некоем Бахметьеве, юноше, получившем наследство и уехавшем строить социализм «на Маркизовы острова». По дороге, захав в Лондон, он оставил Герцену круглую сумму «на пропаганду», которую тот положил в банк Ротшильда под процент, обязавшись, во-первых, ждать как можно дольше возвращения Бахметьева, а во-вторых, тратить эти деньги только совместно с Огаревым. Хотя след жертвователя пропал бесследно, на все притязания «молодых штурманов будущей бури» Герцен отвечает отказом. О молодых революционерах-землевольцах Герцен, объясняя свою позицию, пишет: «... Их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подъяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они

остались сужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, стрекулистами без места, немцами из русских».

Задуманный как объединительный, конгресс играет роль прямо противоположную – эмиграция разделяется на два непримиримых лагеря. Герцен напишет Огареву о своем бывшем протеже: «Утин хуже других по безграничному самолюбию», – называет его «самым лицемерным из наших заклятых врагов». В другом месте: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования. <...> Им хочется играть роль, и они хотят употребить нас пьедесталом. <...> Женева при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы, как горькая редька». Причем каждая сторона после сорвавшихся переговоров обвиняет в провале объединения противника. Герцен – Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха), – да черт же с ними, наконец». «Приказ из Цюриха» – намек на проживавшего в то время в цюрихском пансионе Шелгуновой Александра Серно-Соловьевича, тоже участника переговоров. Скоро и Шелгунова, и Серно-Соловьевич переселятся в Женеву. Герцен Огареву: «Серно-Соловьевич – главный противник наш».



А.А. Серно-Соловьевич

Александр Серно-Соловьевич – еще одна яркая фигура в истории долгого пути к революционной катастрофе. Собственно, сперва он был известен как младший брат «русского маркиза Поза», Николая Серно-Соловьевича, прославившегося тем, что в сентябре 1858 года подал гулявшему по Царскосельскому саду Александру II записку, в которой писал о бедствиях России и о необходимости уничтожения крепостничества. Прочитав записку, царь велел шефу жандармов А.Ф. Орлову поцеловать юношу. Воспитанник пушкинского Царскосельского лицея, Александр уже в ранние годы принимает русскую революционную идеологию ненависти. В письме товарищу он пишет: «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов... Пусть будет она девизом, вечным знаменем, с которым нужно идти на борьбу, потому что невозможно никакое примирение там, где не хотят его знать, где все окружающее напоминает только о том, что ты грязь и ничтожество». Младший брат вместе с Николаем находится среди основателей «Земли и воли» и является фактически лидером организации. 7 июля 1862 года в один день арестованы Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич. Александр незадолго до этого уезжает за границу в Швейцарию для «поправления здоровья». На требование правительства вернуться отвечает отказом и стано-

вится невозвращенцем. Его судят заочно, лишают всех прав и приговаривают к пожизненной ссылке. Кипучая натура жаждет деятельности. Идея все та же, которая будет преследовать русскую эмиграцию до и после всех революций, – объединение всех оппозиционных сил. Идея обреченная. Уже в 1862 году Александр Серно-Соловьевич пытается организовать типографию в Берне, специально ездит в Лондон на переговоры, но безрезультатно.

Разрыв с Герценом на Женевском конгрессе в 1864 году разгорается в непримиримую вражду. Серно-Соловьевич ощущает себя лидером антигерценовской партии: «Я протестую потому, чтобы засвидетельствовать, что “Колокол” не является больше знаменем молодой России, что он выражает только личные взгляды господ Герцена и Огарева». Некогда ревностный почитатель Герцена становится не менее ревностным ниспровергателем кумира.

Вскоре после женевского съезда у Серно-Соловьевича начинают проявляться первые признаки тяжелого психического заболевания. Сказывается и дурная наследственность, и неудачи «дела», и личные переживания. Революционный товарищ Серно-Соловьевича, хозяйка цюрихского, а потом и женевского пансиона, располагавшегося на даче «Ольтомаре» (“Oltomare”), где проживают эмигранты, Людмила Петровна Шелгунова, жена известного революционного публициста, становится его любимой и рождает от него ребенка. Тучкова-Огарева, жена Герцена и Огарева, вспоминает: «Когда мы поселились в Женеве, там было много русских, почти все были нигилисты. Последние относились к Герцену крайне враждебно. Большая часть из них помещалась в русском подворье, или в русском пансионе г-жи Шелгуновой, той самой, которая несколько лет до нашего переезда на континент приезжала к Герцену в Лондон с мужем и с писателем Михайловым. С тех пор многое в ее жизни изменилось; муж ее давно уехал в Россию, жил где-то в глуши и постоянно писал в журналах, а Михайлов был сослан. В год или два разлуки с Михайловым она не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем-младшим». Оставим тон воспоминаний на совести мемуаристки, не очень большой почитательницы Шелгуновой, и продолжим цитату: «Я потому позволяю себе говорить об отношениях г-жи Шелгуновой с Михайловым и с Серно-Соловьевичем-младшим, что это было в то время всем известно и она этого не скрывала. Интерес не в сплетнях, не в интригах, а в последствиях, о которых я хочу рассказать. Серно-Соловьевич был моложе ее: горячий, ревнивый, вспыльчивый, он имел с г-жой Шелгуновой бурные сцены, и она стала его бояться. Когда у нее родился сын, то, чтобы покончить все отношения с ним, она решила окрестить ребенка и отослать его на воспитание к мужу своему, Шелгунову». Молодой отец тяжело переживает разлуку с сыном. «С отъезда ребенка Серно-Соловьевич был вне себя, – продолжает рассказ Тучкова-Огарева, – грозил убить г-жу Шелгунову, врывался к ней в комнату и становился в самом деле страшен. “У меня всё взяли, – говорил он с отчаянием, – теперь я ничем не дорожу”. Не знаю, как г-же Шелгуновой удалось, для своего успокоения, поместить Серно-Соловьевича в дом умалишенных, но это несомненный факт. Вероятно, друзья Серно-Соловьевича помогли».

В лечебницу «Брестенберг» в Аарау больного помещает Александр Черкесов, лицейский друг Серно-Соловьевича, причем деньги на лечение берет втайне от Соловьевича у его злейшего врага Герцена. Черкесов, в юности революционер, поддерживает своего друга в эмиграции. В 1865 году Черкесов уезжает на родину, где подвергается аресту, но ненадолго, выходит на свободу и открывает в Петербурге и в Москве популярные книжные магазины. В 1869–1870 годах он снова будет арестован по нечаевскому делу, но опять ненадолго. Впоследствии Черкесов станет адвокатом и мировым судьей.

«Раз перед вечером, – читаем дальше у Тучковой-Огаревой, – мы сидели втроем: Огарев, Герцен и я; вдруг дверь быстро отворяется, и вбегает человек с растерянным видом, оглядывается по сторонам, потом падает на колени перед Герценом – это Серно-Соловьевич, я узнаю его.

– Встаньте, встаньте, что с вами, – говорит Александр Иванович тронутым голосом.

– Нет, нет, не встану, я виноват перед вами, Александр Иванович, я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати... А все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб ей было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу.

Герцен и Огарев подняли его, жали ему руки, уверяли его, что не помнят зла, и оставили у нас, но убедительно просили не ходить туда (к г-же Шелгуновой), где всё его раздражало.

Они смотрели на него всепрощающим взглядом, и я думала, глядя на них, что так, должно быть, любили и прощали первые христиане».

Летом 1866-го после побега Серно-Соловьевича из лечебницы Герцен и Огарев, желая помочь хоть и личному врагу, но товарищу по борьбе, поручают ему корректуру «Колокола», чтобы дать молодому революционеру заработок. Это, однако, не помешает Серно-Соловьевичу написать брошюру против своего благодетеля. А может, именно то, что он зависел материально от ненавистного ему Герцена, и сыграло свою роль. «Через короткое время, – пишет Тучкова-Огарева, – Серно-Соловьевич не выдержал, ушел туда, где его раздражали до бешенства, и его опять отвезли в психиатрическую больницу».

В 1867 году он, выйдя в очередной раз из лечебницы, публикует нашумевшую брошюру «Наши домашние дела», в которой крепко и не на самом высоком уровне полемики достается Герцену. Серно-Соловьевич от лица русской молодой эмиграции хоронит Герцена заживо, называет его «мертвым человеком», от которого уже нечего ждать. Особенно ополчился Серно-Соловьевич на фразу Герцена из статьи «Порядок торжествует»: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога...»

Дальнейшая жизнь Серно-Соловьевича – яркое быстрое угасание. В короткие просветы он снова бросается в революцию – становится членом женевской секции Интернационала, вступает в переписку с Марксом. Тот посылает своему русскому приверженцу первый том «Капитала» – сразу по выходе в свет. В конфликтах, раздражавших Интернационал, Серно-Соловьевич расходится с русскими, пошедшими в массе своей за Бакуниным.

Болезнь прогрессирует. Еще одним сильным ударом является известие о смерти брата Николая в русской тюрьме. В будущем некрологе, написанном Утиным, будут приведены слова Серно-Соловьевича, объяснявшие сделанный им выбор: «Меня мучит, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единоличное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!»

Просветы в помешательстве становятся всё реже. Узнав от врача, что состояние его безнадежное, Серно-Соловьевич уже в последний раз бежит из больницы и 4 августа 1869 года кончает с собой в Женеве, на своей квартире на улице Савуаз (rue de Savoises, дом не сохранился). Тучкова-Огарева: «Серно-Соловьевич кончил самоубийством, и каким страшным! Он дал себе три смерти: отравился, перерезал жилы и задохся от разожженных углей в жаровне. Настродался и вышел на волю!» Его уже разлагавшийся труп нашли в квартире только через несколько дней – по запаху, потревожившему соседей.

В своем предсмертном письме он написал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть – это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».

В своих обширных мемуарах Шелгунова упомянет отца своего ребенка лишь одной фразой: «Второй брат, Александр, предвидя арест, успел уехать за границу, где прожил лет пять то в больнице, то на свободе, так как он был душевнобольным, как была душевнобольной и его мать, и затем кончил дни свои самоубийством».

В короткий период работы корректором в «Колоколе» Серно-Соловьевич жил у Герценов – в их женевском поместье Шатле-де-ла-Буасьер (Le Châtelet de la Boissie`re, Route de Chêne), скромно называемом Тучковой-Огаревой в своих воспоминаниях дачей. Это первый постоянный адрес Герцена в Женеве после переселения его на континент.

Отношения гражданина общины Муртен в кантоне Фрибур со своей избранной родиной складываются не менее сложно, чем с родиной неизбранной. В одном из писем Герцен пишет о достижениях демократической республики: «Gott protege la Svizzera! Вот что может сделать народ в 3 миллиона, когда он народ, а не стадо. Ну что галлы и немцы... Шутки в сторону, я горжусь моим отечеством-bis». В другом письме: «То всё до того ужасно, что заставляет ненавидеть эту подлюю Швейцарию».



Поместье Герценов Буасьер

В 1849 году он бежит в Швейцарию из Парижа, спасаясь от полиции и холеры. Те первые швейцарские годы омрачены трагическими событиями: предательством друга Гервега, гибелью матери, сына, мучительной болезнью и смертью жены. Последовавший переезд из Швейцарии в Лондон – это и попытка оторвать от себя прошлое. «Дело» захватывает его, помогает выжить в череде семейных несчастий. После смерти Николая I одним из первых вырывается на Запад Огарев. Вдвоем с другом они своими изданиями дают голос рождающемуся общественному мнению России. Но и бесконечной семейной трагедии придается новый импульс. Тучкова уходит от Огарева и становится женой Герцена почти сразу после приезда их в Лондон – союз, не принесший счастья никому. Клубок страстей, ненависти и любви только затягивается. Герцен мечтает о большой дружной семье, но Тучкова восстает против себя детей его из первого брака, всё усложняет ее характер, крутой и истеричный. Семья распадается, старшие дети Герцена разъезжаются, воспитываются кто где, по разным семьям и странам, их отношение к мачехе становится почти враждебным. У Герцена и Тучковой рождаются дочь Лиза, близнецы Елена и Алексей. Но надежда, что новая семья принесет счастье, тоже обманывает. Борцы против мещанской морали на словах и передовые люди своего времени в блистательных статьях, в быту они – обыкновенные смертные и свои «внебрачные» отношения пытаются держать втайне от всех, а дети Тучковой и Герцена считаются детьми Огарева. Очередной удар не имеющей жалости судьбы – умирают близ-

нецы. Тучкова после пережитой трагедии хочет уехать в Россию с Лизой, их старшей дочерью. Герцен не отпускает ребенка, борьба за дочь принимает формы драматические. Вся эта обстановка, в которой проходит детство, не может не сказаться на ребенке. Лиза ненадолго переживет своего отца – в семнадцать лет она покончит с собой.

Переезд из Лондона в Женеву в 1865 году – еще одна попытка уйти от прошлого: от смертей самых близких людей, от разочарований, неудач. Главная надежда – возрождение «Колокола». В 1865–1868 годах «Колокол» издается Герценом в Женеве. Вольная русская типография располагается на площади Пре-л'Эвек (Pre-l'Evêque, 40), вблизи Женевского озера. Дом этот не сохранится, в семидесятые годы XX столетия район подвергнется реконструкции, и здание снесут. Герцен живет в Женеве с небольшими перерывами с 1865 года до своей смерти в 1870-м. Женеву он так и не сможет полюбить.

«Весной 1865 года из Ниццы мы переехали прямо на дачу близ Женевы, – вспоминает Тучкова-Огарева. – Дача эта называлась Château de la Voissie`re и была нанята для нас, по поручению Герцена, одним соотечественником, г-ном Касаткиным, который жил тут же с семейством во флигеле. Château de la Voissie`re был старинный швейцарский замок с террасами во всех этажах. Внизу были кухня и службы, в первом этаже – большая столовая, гостиная и кабинет, где Герцен писал; из широкого коридора был вход в просторную комнату, занимаемую Огаревым. Наверху были комнаты для всех нас, т. е. для меня с дочерью, для Натальи Герцен и для Мейзенбург с Ольгой (воспитательница и вторая дочь Герцена от первого брака. – *М.Ш.*). Последние приехали из Италии в непродолжительном времени после нашего приезда. Château de la Voissie`re стоял в большом тенистом саду; перед домом простирался обширный зеленый газон, окаймленный дорожками, которые спускались вниз до огорода; за садом шла большая дорога в Женеву; по этой дороге, несколько раз в день, omnibusы проезжали из Каружа в Женеву, и это составляло большое удобство для обитателей Château de la Voissie`re».

Описывая свою «дачу», Тучкова-Огарева из присущей революционным демократам скромности не упоминает имени бывшей владелицы роскошного поместья. С 1838 года до своей смерти в 1860 году здесь жила великая княгиня Анна Федоровна – вдова Константина, несостоявшаяся императрица России. В этом затерянном среди парка замке, где в ее комнате на камине стоял бюст Александра I, старая великая княгиня искала покоя и уединения. Ей хотелось, чтобы ее все забыли, – при переписи населения в 1843 году она записалась под именем графини фон Ронау, протестанткой, вдовой. Инкогнито сохранить не удалось, кто-то из чиновников приписал на опросном листе: “Grossfürstin Konstantin” («Великая княгиня Константин»). В покоях несбывшейся властительницы России расположился властитель русских дум.



А.И. Герцен. Рисунок дочери Натальи

Женевская жизнь для Герцена, с одной стороны, полна радостных хлопот – с Огаревым вместе устраивается типография для печатания «Колокола», пишутся очерки «Скуки ради», которые легально под прозрачным псевдонимом издаются в России в «Неделе», но, с другой стороны, растет пропасть между ним, вчерашним кумиром молодежи, и новым поколением революционеров. «Жизнь в Женеве, – пишет Тучкова-Огарева, – не нравилась Герцену: эмигранты находились в слишком близком расстоянии от него; незанятые, они имели слишком много времени на суды и пересуды; их неудовольствие на Герцена, неудовольствие, в котором главную роль играла зависть к его средствам, крайне раздражало Александра Ивановича, тем более что его здоровье с 1864 года начинало ему изменять». Пути всё больше расходятся. Герцен восстает против выстрела Каракозова, нового героя русской молодежи: «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Герцен – противник террора, а это простить ему новое поколение русских революционеров уже не может. Начинается травля. «Далее ясно для меня, – пишет Герцен Тучковой-Огаревой после грубых столкновений с эмигрантами, – что я в Женеве жить не могу». Терпит в конечном итоге фиаско и проект возродить «Колокол» в Швейцарии, снова заставить его звучать на всю Россию. Герцен обречен на непонимание. В конце жизни его ждет одиночество, он теряет общий язык и с читателями, и с родными, и с Огаревым.

Поместье Буасьер, дом желанной встречи семьи и друзей, пустеет. Тучкова-Огарева с дочкой Лизой переезжает в Монтрё. Герцен со старшей дочерью от первого брака Наташей переселяется в центр города, в квартиру на набережной Монблан (quai du Mont-Blanc, 7), Огарев со своей английской подругой жизни Мэри Сатерленд выбирает для проживания Ланей (“Petit Lancy”, maison “Dunoyer”), ближний пригород Женевы.

Не складывается личная жизнь и у детей Герцена. В Ланей у Огарева живет брошенная гражданская жена сына Герцена – Александра Александровича – Шарлотта Гетсон с сыном Тутсом. В начале 1867 года она утопилась в Женевском озере, через несколько лет ее останки находят на берегу Роны. Тучкова-Огарева видит в этой трагедии вину ненавистной ей англичанки. Оставив Огарева, она всё же ревнует бывшего мужа. «Это очень странное зрелище, – пишет она о слиянии Роны и Арвы, том месте, где было найдено тело матери герценовского внука. – Эти реки долго текут рядом, сохраняя каждая свой цвет, и только позже сливаются совершенно. В Роне есть глубокие пещеры, туда прибило тело несчастной Шарлотты. Когда она приехала из Англии с маленьким Тутсом, ее поместили у Огарева в доме, но скоро Мэри стала ревновать ее к Огареву и к своему сыну Генри. Шарлотта любила

Огарева как отца; когда она услышала непонятные упреки от Огарева, она поняла, что ее очернила Мэри перед ним; она горько плакала в последний день, просила водки у Мэри, та дала, а вечером Шарлотта исчезла, это дало повод добродетельной Мэри распускать слух, что Шарлотта бросила ребенка на ее попечение и бежала с новым любовником, но Рона отомстила Мэри и оправдала несчастную жертву; через четыре года она выбросила из пещеры на поверхность вод тело Шарлотты, полиция вспомнила исчезновение молодой англичанки из Ланей и пригласила Мэри посмотреть на свою жертву: на одной ноге была еще ботинка и в кармане связка ключей. Мэри признала ключи и останки покойницы».

Вслед за Герценом в Швейцарию переезжает Бакунин и поселяется на берегах Женевского озера в Веви. К концу шестидесятых он в зените своей славы ниспровергателя и бунтаря. Слова, сказанные им в двадцать восемь лет: «Страсть к разрушению есть творческая страсть», – становятся девизом его жизни и приносят ему восхищение многочисленных поклонников и поклонниц не только в России. Этот человек стал легендой при жизни. Уже в 1844 году во время заграничной поездки он знакомится с Прудоном и Марксом. В 1848-м он один из лидеров революции – готовит выступление в Австро-Венгрии, руководит восстанием в Саксонии. Во время боев в Дрездене он предлагает взорвать Цвингер – план срывается, потому что подземные ходы гарнизон дворца заливают водой. После поражения восстания Бакунин арестован, два года проводит в саксонской и австрийской тюрьмах. В заключении он прикован к стене. Тучкова-Огарева: «Он рассказывал нам, что пробовал отравиться фосфорными спичками и ел их без всякого ущерба для своего редкого здоровья». Его выдают России. Семь лет проходят в Алексеевском равелине, еще четыре года – в сибирской ссылке. В Сибири он женится на Антонии Квятковской, наполовину польке. Бакунин преподавал юной девушке иностранные языки, и, обычная история, учитель женится на ученице. Герцен объяснит этот поступок своего друга юности сибирской скукой, позднейшие исследователи объявят эту женитьбу фиктивным браком в духе не написанного еще, но уже назревавшего «Что делать?». Благодаря «разумному эгоизму» девушка покупала себе независимость, старый революционер – солидное положение семейного человека, от которого нельзя ожидать, что он всё бросит и через Японию и Америку устремится к новым авантюрам. Будем всё же исходить из предположения, что есть области, историкам недоступные. Как бы то ни было, их обвенчали, и они поклялись Богу беречь и любить друг друга до самой смерти.

В 1861 году вскоре после женитьбы Бакунин отправляется в кругосветный побег и приезжает в Лондон к Герцену. Антося – Антония Ксаверьевна – вскоре прибывает за мужем, но в Англии она его уже не застает. Свобода для Бакунина – возможность деятельности. Начинается польское восстание, и он бросается освобождать Польшу. Военная авантюра, однако, не удается, и корабль вместо берегов Польши пристает к берегу Швеции.

Разочаровавшись в «польском деле», Бакунин отправляется бунтовать Италию, организует тайные общества во Флоренции и Неаполе. Жена еще следует за ним, но явно не разделяет пафоса заговора. «Посмотрите на мою Тосю, – характеризует свою супругу Бакунин приятелю. – Она у меня глупенькая и совсем не разделяет моих убеждений, но она очень мила, чрезвычайно добра и отлично переписывает мне важные рукописи, когда мне нужно, чтобы не узнали мой почерк». В Неаполе «глупенькая Тося» находит человека, более подходящего ее представлению о счастье, – адвоката Гамбуцци, от которого будет иметь детей и за которого выйдет замуж после смерти Бакунина.

Оставив жену в Италии, Бакунин в сентябре 1867 года приезжает в Швейцарию и сразу попадает на Женевский конгресс «мира и свободы», проходивший в Избирательном дворце (Palais Electoral) на Плас-Нев (Place Neuve). Герцен, презрительно называвший мероприятие, задуманное передовой европейской интеллигенцией как демонстрацию единения миролю-

бивых сил против угрозы новой войны, «писовкой», отказывается принимать в нем участие. Огарев, наоборот, заседает в руководящих органах конгресса. Свадебным генералом выступает знаменитый итальянский герой Гарибальди.

«В начале сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс мира, на открытие которого приехал Джузеппе Гарибальди, – вспоминает Анна Григорьевна Достоевская. – Приезду его придавали большое значение, и город приготовил ему блестящий прием. Мы с мужем тоже пошли на rue du Mont-Blanc, по которой он должен был проезжать с железной дороги. Дома были пышно убраны зеленью и флагами, и масса народу толпилась на его пути. Гарибальди, в своем оригинальном костюме, ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики. Нам удалось увидеть Гарибальди очень близко, и мой муж нашел, что у итальянского героя чрезвычайно симпатичное лицо и добрая улыбка».

Но главная звезда конгресса – Бакунин. Появление его в зале заседания встречается овацией, в первый же день его избирают вице-президентом конгресса, он занимает место в президиуме рядом с Огаревым.

Очевидец – Григорий Николаевич Вырубов, философ, химик и будущий издатель Герцена, – вспоминает о Бакунине на конгрессе: «Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, как всегда неряшливо одетый в какой-то серый балахон, из-под которого виднелась не рубашка, а фланелевая фуфайка, раздались крики: “Бакунин!” Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Несмотря на то, что в огромном зале было немало противников, все встали, и восторженным рукоплесканиям не было конца».

Огарев присылает пригласительный билет и Достоевскому. «Интересуясь Конгрессом мира, – вспоминает Анна Григорьевна, – мы пошли на второе заседание и часа два слушали речи ораторов. (Достоевские были на третьем заседании и речи Бакунина не слышали, но и речи других ораторов привели писателя в такое бешенство, что он с проклятиями покинул зал. – *М.Ш.*) От этих речей Федор Михайлович вынес тягостное впечатление...»

Достоевский – Майкову: «Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Всё было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели и как разрешили. Разумеется, сомнения и не было у меня в том, еще прежде, что первое слово у них будет: драка. Так и случилось. Начали с предложений вотировать, что не нужно больших монархий и все поделать маленькие, потом, что не нужно веры и т. д. Это было 4 дня крику и ругательств».

Достоевский – Соне Ивановой: «Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, – которых первый раз видел не в книгах, а наяву, – социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противуречие себе – это вообразить нельзя! И эта дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб всё было общее по приказу и проч. Всё это без малейшего доказательства, всё это заучено еще 20 лет назад наизусть да так и осталось. И главное огонь и меч – и после того как всё истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Бакунин и в последующие годы – частый гость Женевы и особенно русской молодежи, боготворившей его. Рассказ об одном из его приездов находим в воспоминаниях Н. Врангеля «От крепостного права до большевиков». Приведем этот замечательный кусок почти целиком.

«Я был ярый поклонник Герцена, и, так как часто его имя произносилось рядом с именем Бакунина, – пишет мемуарист, в то время семнадцатилетний юноша, приехавший в Женеву учиться, – я тоже пожелал его услышать и вечером отправился в Каруж.

Пивная, в которой было назначено собрание, была переполнена. Все наши россияне были налицо и наперерыв лебезили перед великим революционером. Андреев (знакомый Врангеля. – *М.Ш.*) и меня представил Бакунину. Фигура его была крайне типична, как нарочито сколоченная для народного трибуна-демагога. Держался он, как подобает всемирной известности: самоуверенно, авторитетно и милостиво просто.

Какой-то комитет или президиум, не знаю как назвать, поднялся на эстраду, украшенную красным кумачом, красными флагами и гербами Швейцарии, какой-то бородатый субъект сказал несколько громких, подходящих к данному случаю слов, и Бакунин, тяжело ступая, взошел на трибуну и простоял несколько минут безмолвно. Вдруг как будто очнулся и заговорил. Содержание его речи я не помню, и едва ли его можно было передать. Логической последовательности в ней не было, мыслями она не изобиловала. Громкие слова, возгласы, удары грома, рычание льва, сверкание молнии, рев бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Этот человек был рожден трибуном, был создан для революции. Революция была его естественная стихия, и я убежден, что буде ему удалось бы перестроить какое-нибудь государство на свой лад, ввести туда форму правления своего образца, он на следующий же день, если не раньше, восстал бы против собственного детища и стал бы во главе политических своих противников и вступил бы в бой, дабы себя же свергнуть.



Агитационный анархический листок

Речь Бакунина произвела потрясающий эффект. Прикажи он публике перерубить друг другу горло – она без сомнения это бы сделала. К счастью, он этого не сделал, и мы на этот

раз ограничились тем, что до боли отхлопали свои ладоши и до хрипоты натужили свою глотку.

Когда публика перестала неистовствовать и разошлась, Бакунин, окруженный своими почитателями, двинулся к Женеве. Все были возбуждены и довольны, Бакунин в особенности. Проходя мимо какого-то скромного кабачка, он круто остановился:

– Господа, предлагаю тут поужинать.

Провожатые помялись. Народ был, видимо, бедный – у большинства, очевидно, в кармане было пусто; у меня было франков десять, у Андреева двадцать. Бакунин заметил нерешимость бедных соотечественников:

– Конечно, угощаю я. А кто не примет мой хлеб-соль, тот анафема. Э, братцы! Сам в передрыгах бывал. Валимте.

Сели за стол.

– Господа, заказывайте!

Гости деликатные, как большинство нуждающихся людей, заказали кто полпорции сыра, кто полпорции колбасы, но Бакунин воспротивился. Приказал всем подать мясное и еще какое-то блюдо, сыр, несколько литров вина. Некоторые против такой роскоши восстали, но хозяин пира крикнул “Смирно”, и все умолкли.

– Господа, ребята вы теплые и начальству, вижу, спуска не даете. Это хорошо. Хвалю. Но за столом хозяину противиться не резон. Да здравствует свобода!

Все чокнулись. И пошло.

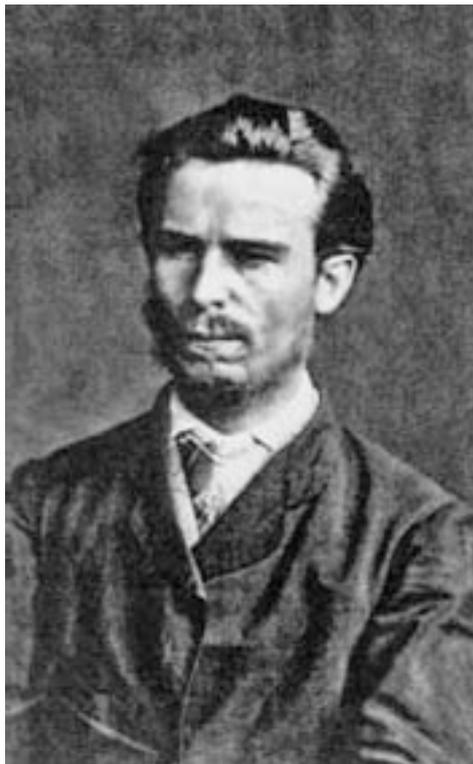
Бакунин был в ударе, рассказывал о своих похождениях, о жизни в Сибири, бегстве, и время летело незаметно. Начало светать. Подали счет. Бакунин пошарил в одном кармане, в другом – для уплаты не хватило. Он расхохотался.

– Государственное Казначейство за неимением свободной наличности вынуждено прибегнуть к принудительному внутреннему займу. Доблестные россияне, выручайте. Завтра обязательства Казначейства будут уплочены сполна звонкой золотой и серебряной монетой.

Андреев, сияя от восторга, выложил свой золотой, остальные – что кто имел, и всё уладилось.

Бакунин деньги вернуть забыл. И бедному Андрееву, да, вероятно, не ему одному, пришлось на несколько дней положить зубы на полку. Я был, по молодости лет, возмущен. Русских обычаев и нравов тогда еще не знал. Теперь бы это меня не удивило: не то я на своем веку видел», – заключает мемуарист.

Среди участников Женевского конгресса еще одна примечательная личность – Лев Мечников, брат знаменитого физиолога Ильи, который в то время, кстати, тоже живет в Женеве. В юности Лев – страстный революционер. Он сражается в Италии в рядах бойцов Гарибальди и в битве у Вольтурно получает тяжелое ранение, после которого чудом остается жив. Он – один из активнейших сотрудников Герцена по изданию «Колокола», а после разрыва с ним – член русской женевской секции Интернационала и близкий соратник Бакунина. Постепенно он отходит от революционной деятельности и посвящает себя науке, связывая географию с социологией. Он едет на несколько лет в Японию. Возвратившись, Мечников пишет многочисленные научные труды, читает лекции в университетах Западной Швейцарии. Здесь, в альпийской республике, русский революционер-ученый проводит остаток жизни.



С.Г. Нечаев

В марте 1869 года в Женеве появляется Нечаев. Бакунину молодой революционер представляется лидером могущественной тайной организации, готовой взбунтовать Россию. Бакунин выдает ему мандат от могущественной тайной организации, готовой взбунтовать Европу. «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771». Рядом с подписью Бакунина стоит печать со словами «Европейский революционный союз, Главный комитет». Оба блефуют, и оба довольны заключенной сделкой. Им кажется, вдвоем они смогут взорвать этот ненавистный мир. Разрабатывается план крушения России: проведение массовой пропагандистской кампании и бунт. Для осуществления нужны талантливое перо и деньги. Привлекается Огарев, скучающий без дела после закрытия «Колокола» и всё чаще сражающийся со скукой алкоголем. Казна революции всё та же – Герцен.

Тучкова-Огарева: «Простившись с Виктором Гюго накануне нашего отъезда, мы отправились опять в Женеву. Там на этот раз Герцена ожидали разные неприятности: Бакунин и Нечаев были у Огарева и уговаривали последнего присоединиться к ним, чтоб требовать от Герцена бахметьевские деньги, или фонд. Эти неотступные просьбы раздражали и тревожили Герцена. Вдобавок его огорчало, что эти господа так легко завладели волей Огарева.

Собираясь почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столкнуться. Рассказывая мне об этих недоразумениях, Александр Иванович сказал мне печально: “Когда я восстаю против безумного употребления этих денег на мнимое спасение каких-то личностей в России, а мне кажется, напротив, что они послужат к большей гибели личностей в России, потому что эти господа ужасно неосторожны, – ну, когда я протестую против этого, Огарев мне отвечает: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Что же на то сказать, ведь это правда, я сам виноват во всем, не хотел брать их один”».

«Размышляя обо всем вышесказанном, – продолжает Тучкова-Огарева, – я напала на счастливую мысль, которую тотчас же сообщила Герцену. Он ее одобрил и поступил по

моему совету; вот в чем она заключалась: следовало разделить фонд по 10 тысяч фр. с Огаревым и выдавать из его части, когда он ни потребует, но другую половину употребить по мнению исключительно одного Герцена. Последний желал этими деньгами расширить русскую типографию, чтоб со временем новые русские эмигранты воспользовались ею».

Летом 1869 года Герцен по требованию Огарева отдает половину фонда Нечаеву. «На другой день соглашения их с Огаревым относительно фонда, – вспоминает дальше Тучкова-Огарева, – Нечаев должен был прийти к Герцену за получением чека. Я была в кабинете Герцена, где он занимался, когда явился Нечаев. Это был молодой человек среднего роста, с мелкими чертами лица, с темными короткими волосами и низким лбом. Небольшие, черные, огненные глаза были, при входе его, устремлены на Герцена. Он был очень сдержан и мало говорил. По словам Герцена, поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу. Потом я вышла, оставив их вдвоем. Редко кто-нибудь был антипатичен Герцену, как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое».

Весной и летом 1869 года разворачивается так называемая первая пропагандистская кампания – пишутся и издаются десятки прокламаций с призывом к немедленной расправе и мятежу, составляется пресловутый «Катехизис революционера» – наивно изложенный устав русской революционной жизни, от которого впоследствии все будут на словах открещиваться и которому все будут следовать.

Большинство «нечаевских» листовок написаны Огаревым. Ветер с Женевского озера берedit в старом поэте мечты о русском бунте.

В переписке Огарев называет Нечаева любовно внуком. Дед, как и положено, частенько поучает. Например, ругает Нечаева за выдвинутую им идею отдельных разбойничьих бунтов в провинции и предлагает свой план и масштаб: «Идти быстро с Урала с башкирами и с Дона с киргизами на Москву – составляет стратегическую методу. Сибирь и Кавказ позади всегда окажутся верными союзниками». Среди «стратегических метод» не забываются и тактические мелочи, к примеру: «современное с восстанием ломание одного рельса железных дорог...»

Отношение Герцена к бурной деятельности, развитой революционной тройкой, однозначно. Он выражает его в письме старому другу Огареву: «Я <...> говорил о “психе” – Бакунине, Нечаеве – на пристяжке и о тебе в корню».

Но его время, время здорового герценовского скептицизма, кончается. Жить этому удивительному человеку остается немного.

С бакунинским мандатом осенью 1869 года Нечаев отправляется в Россию – действовать. Однако организованная им партия «Народная расправа» вместо всенародного бунта оказывается способной только на одно-единственное убийство – своего же товарища, засомневавшегося в том, что рассказывал Нечаев о всемирной революционной организации, и вообще задававшего слишком много вопросов, – «слишком умных» в России никто не любит: ни царизм, ни его противники. Студент Иванов убивается именем мифического Всемирного революционного союза. Убийцы, такие же юноши-студенты, так теряются, что, забыв про имевшееся у них оружие, забивают несчастного камнями и кулаками, а в конце душат руками. Только когда Иванов уже мертв, доверенный представитель Бакунина № 2771 достает револьвер и для большей уверенности стреляет труп в голову.

Нечаев снова бежит за границу. Бакунин, проживающий в это время в Тессине, узнает, что Нечаев, которого в письме ласково называет «наш Бой», в Швейцарии, и приглашает его к себе в Локарно.

21 января 1870 года умирает Герцен. Нечаев сразу ставит вопрос о второй части бахметевского фонда. В начале февраля он уже в Женеве, куда к Огареву приезжает после смерти

Наталья Герцен. На семейном совете Тучкова-Огарева и старший сын Герцена – Александр Александрович – решают согласиться на требования революционеров.

Тучкова-Огарева вспоминает:

«После кончины своего отца Александр Александрович сказал мне:

– Мы честные люди, Натали, и мне не хочется держать у себя эти деньги. Много ли их осталось у нас, ты лучше знаешь эти дела?

– Десять тысяч франков, – отвечала я.

– Скажи свое мнение, – сказал он.

– Твой отец желал употребить эти деньги на расширение типографии, но так как ты не станешь заниматься русской пропагандой, пожалуй – лучше отдать эти деньги Огареву с Бакуниным; тогда на тебе не будет никакой личной ответственности за них, – сказала я.

Александр Александрович поехал в Женеву и вручил деньги...»

С февраля по июнь 1870 года проводится вторая пропагандистская кампания. Содержание всё то же – Русь неустанно призывается к топору.

В брошюре «Постановка революционного вопроса» Бакунин излагает свою любимую мысль о русском разбойнике: «Разбой – одна из почтеннейших форм русской народной жизни... Разбойник – это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством...»

В брошюре «Начало революции» объясняется, как нужно начинать революцию: «Данное поколение должно начать настоящую революцию <...> должно разрушить всё существующее сплеча, без разбора, с единым соображением „скорее и больше“. <...> Яд, нож, петля и т. п.!.. Революция всё равно освящает в этой борьбе... Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам всё равно!»

Деньги из фонда быстро улечиваются. Снова остро встает вопрос о средствах. Взоры революционеров обращаются на сироту, получившую в наследство часть герценовских капиталов. Наташу Герцен, еще не совсем оправившуюся после тяжелой болезни, втягивают в «русское дело».

Краткая предыстория ее заболевания такова: во Флоренции молодая девушка встречается со слепым музыкантом сицилианцем графом Пенизи. Герцен, в восторге от его таланта, пишет дочери Лизе: «Слушай же, он компонист, играет превосходно на фортепьяно и поет. Говорит сверх своего языка совсем свободно по-французски, по-немецки, по-английски, пишет (т. е. диктует) стихи и статьи; знает всё на свете... Я еще такого чуда не видывал».

Итальянец влюбляется в Наталью и так настойчиво добивается любви впечатлительной девушки, что доводит ее до помешательства. Герцен, узнав о сумасшествии дочери, бросается в Италию, чтобы забрать ее. 8 ноября 1869 года пишет Огареву из Флоренции: «Пенизи – злодей, защищенный своей слепотой, – прямо и просто бил на деньги. Если бы можно было обломать ему руки и ноги – это было бы хорошо...»

Тучкова-Огарева рассказывает: «Бакунин и Огарев знали о недавней болезни Наташи, болезнь которой едва начинала проходить и в которой ей постоянно мерещились самые драматические сцены из революции: во время болезни ее страдания были так сильны, так живы, что я сама настрадалась, глядя на нее. Тем не менее эти господа решились, со странной необдуманностью, вовлечь ее в революционные бредни их партии. Видя в больной богатую наследницу части состояния Герцена, Бакунин не задумался пожертвовать ею для дела, забывая, что именно революционная обстановка могла угрожать ей рецидивом болезни. Бакунин делал это не из личной жадности к деньгам; он не придавал им никакого значения, но он любил революционное дело как занятие, как деятельность, более необходимую для его беспокойной натуры, чем насущный хлеб. Наташа возвратилась к нам в Париж молчаливая, исполненная таинственности, и объявила нам, что намерена поселиться в Женеве близ Огарева».

Тучкова-Огарева едет с падчерицей. Для Наташи начинается новая жизнь, посвященная революции.



Н.А. Тучкова-Огарева со старшими детьми А.И. Герцена

«Приехав в Женеву, мы сначала поместились в каком-то маленьком пансионе... Каждый день с утра Наташа отправлялась к Огареву и там садилась за письменный стол, ей дали обязанности секретаря общества, и некоторое время она не понимала, что они так же играют в тайны, как дети в куклы. Иногда она уходила с сильной мигренью, я отсоветовала ей идти, но она отвечала, что ей не позволено пропустить и одного дня; случалось, что ей становилось там еще хуже, она принуждена была бросить работу, прилечь на диван и ночевать у Огарева, а я ее ожидала в большом беспокойстве».

Впечатлительная Наташа знакомится с демоническим двадцатитрехлетним Нечаевым. Происходит то, о чем спорит не одно поколение историков, – молодой человек влюбляется. Было ли это внезапное, но столь естественное для его возраста чувство, растопившее каменное сердце революционера, или это был тонкий расчет в полном соответствии с «Катехизисом» – все средства хороши в борьбе за средства на революцию? Уже в марте 1870-го через несколько встреч происходит объяснение. Как бы то ни было, Наталья дает понять, что молодой человек не может рассчитывать на взаимность.

Нечаев вынужден из соображений конспирации скрываться где-то в горах и забрасывает ее длинными любовными посланиями. 26 мая: «Писать к вам становится трудной, хотя и любимой задачей. Вы хорошо знаете, почему я не могу говорить с вами обиняками, почему не могу скрыть того, что думаю, и почему не в силах сдерживать ту горячность (по-вашему, грубость), что выходит прямо из души...» 27 мая: «Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямоотой... Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы... казалось, ненавидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня. <...> Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю». 30 мая: «Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски <...> Как бы хотелось мне вас видеть!.. Соберитесь сюда погулять... Это всего 6 часов езды от Женевы... Ради “дела”, ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнесите к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрением самое чистое, высокое, человеческое чувство».

Тучкова-Огарева вспоминает: «Раз, часа через два после ее ухода, мне приносят от нее записку, в которой она говорит, что уезжает на два дня в Берн к Марии Каспаровне Рейхель, давнишнему другу Герцена и его семейства. На третий день она возвратилась и призналась мне, что вовсе не была у Марии Каспаровны...» По поручению Огарева Наталья ездила в горы передавать Нечаеву какую-то рукопись. Как видим, Огарев принимал активное участие в этой затеянной Нечаевым вокруг Натальи игре. «...Ей пришлось совершить трудный путь одной с проводником, – продолжает Тучкова-Огарева, – ночевать в каком-то пустынном месте у глухой и неприветливой старухи».

Однако события развиваются не в пользу Нечаева. В начале мая 1870 года в Женеву приезжает Герман Лопатин. Несмотря на свои двадцать пять лет, он имеет за плечами большой революционный опыт: аресты, ссылки, побег. Это он привез из ссылки в начале 1870 года Лаврова. Лопатин, авторитет и совесть русской революционной эмиграции, приезжает в Швейцарию выяснить «нечаевский» вопрос – к этому времени набирается уже много материала против лидера «Народной расправы».

В Женеве происходит собрание эмигрантов. Из донесения шпиона П.Г. Горлова в Третье отделение узнаем о составе собравшихся: «Собрание состоялось 7 мая 1870 года. На этой сходке присутствовали: бывшая жена Огарева, а теперь почему-то называющая себя женой Герцена, старшая и младшая дочери Герцена, м-м Озерова, русская, настоящей фамилии которой еще не знаю, Жуковский с женой, Элпидин, Гулевич, Мечников, Озеров, Огарев, Лопатин. Из неэмигрантов один, называющий себя Романовым из Казани, и другой назывался Серебренниковым, и я. Бакунина в Женеве не было». Лопатин разоблачает бесконечные мистификации Нечаева. В Женеву срочно вызывают Бакунина из Локарно и его «Боя».



«Колокол», возрожденный после смерти А.И. Герцена Н.П. Огаревым и С.Г. Нечаевым

В конце мая происходит очная ставка затронутых лиц. Лопатин в присутствии Бакунина и Нечаева бросает последнему обвинения во лжи, фальсификации, воровстве бакунинских бумаг с целью шантажа и прочих грехах. Бакунин потрясен разоблачениями. Через несколько дней, 2 июня, он пишет Нечаеву: «Я не могу выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке...» Однако что такое обвинение в нечестности для настоящего революционера? «Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к

товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушающей практической революции» – эти слова из «Катехизиса» писали ведь вдвоем. Важна лишь польза для «дела», а польза от такой способной на всё личности, как Нечаев, – несомненная. Уже через неделю, 9 июня, Бакунин отсылает Нечаеву письмо с предложениями о дальнейшем сотрудничестве: в случае согласия Нечаева на его, Бакунина, анархистские принципы построения нового общества после низвержения старого строя, т. е. без дорогой для Нечаева диктатуры, Бакунин предлагает «новую крепкую связь», а также организовать совместное «заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей» и издавать «Колокол» «с явною революционною социалистическою программой». При этом копию письма Бакунин посылает Огареву и Наталье Герцен – на одобрение. Наталья, видно, недостаточно изучив «Катехизис», простодушно выражает сомнение: как может служить «делу» человек, который обманывал и использовал других? Бакунин в ответном письме от 20 июня терпеливо растолковывает девушке тонкости революционной нравственности и уже защищает Нечаева: «Друг наш Барон (Нечаев. – М.Ш.) отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: он предается и весь отдается, другие дилетантствуют; он чернорабочий, другие белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно крепко ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших рук; зато другие люди в высшей степени приятные, а он человек совсем неприятный. Несмотря на это, я предпочитаю Барона всем другим, и больше люблю, и больше уважаю его, чем других».

2 июля Бакунин снова приезжает в Женеву на встречу с Нечаевым, чтобы решить при личном разговоре все вопросы. Нечаев приходит с Владимиром Серебренниковым, единственным другом, который останется верным ему до конца. На встрече присутствует Огарев. Разговор ведется на повышенных тонах и кончается взаимными оскорблениями и разрывом. Нечаев требует денег – речь идет об остатке второй части бахметьевского фонда – и в конечном счете получает их. Бакунин требует вернуть украденные у него Серебренниковым письма, которые его каким-то образом компрометировали, однако писем не получает. Наговорив друг другу много неприятностей, два великих революционера расстаются навсегда.

Огарев после разрыва Бакунина с Нечаевым требует от последнего покинуть Швейцарию. Особенно поэта, призывавшего в прокламациях русских мужиков грабить и расправляться с богачами, возмутило, что Нечаев подговаривал Генри Сатерленда, к которому Огарев относился как к сыну, грабить богатых туристов, путешествовавших по Швейцарии, или – на будущем языке русской революции – заниматься «эксами».

«Тогда уже полиция искала Нечаева, – продолжает свой рассказ Тучкова-Огарева, – и в этот раз во время прогулки Нечаева с Серебренниковым полицейские напали на них: однако Нечаев успел убежать, а Серебренникова схватили и отвели в тюрьму. <...> Когда его арестовали, Серебренников жил у Огарева; через несколько дней после его ареста полицейский является к Огареву, говоря, что Серебренников просит свой *sacvoyage* с бумагами; Огарев не догадался, что это полицейская уловка, и выдал бумаги Серебренникова. Последний был в отчаянии, когда узнал об этом, потому что в бумагах были письма, имена, он мог многим навредить».

Серебренников, однако, вскоре отпущен на свободу. Специально вызванные из России свидетели: сторож Андреевского училища, в котором преподавал Нечаев, и сторож университета, знавшие Нечаева в лицо, – удостоверяют, что предъявленная им личность не есть Нечаев.

«В это время русские эмигранты, не исключая и женщин, много толковали об убийстве Иванова Нечаевым, – читаем дальше у Тучковой-Огаревой. – От самого Нечаева никто ничего не слышал, он упорно молчал. Эмигранты разделились на две партии: одни находили, что надо подать прошение швейцарскому правительству, убеждая его не выдавать Нечаева и

заявляя, что вся русская эмиграция с ним солидарна; другие, наоборот, не признавали никакой солидарности с ним и утверждали, что, не слыша ничего от самого Нечаева, нельзя сделать себе верного представления об этом деле и прийти к какому-нибудь заключению, и мы с Наташей также думали».

Во всяком случае и те, и другие считали долгом чести спасти убийцу. Наташа Герцен приводит тайком Нечаева к себе в дом, и там он скрывается некоторое время. Помочь ему выбраться из Женевы берется сама Тучкова-Огарева и устраивает побег среди бела дня с хладнокровием героинь приключенческих романов: «Я заказала с утра карету с парой хороших лошадей к двенадцати часам. В двенадцать часов карета с прекрасной парой гнедых лошадей стояла у нашего крыльца... Прислуга, приняв Нечаева за одного из русских, которые бывали у нас, не обратила на него никакого внимания, тем более что всё делалось открыто, днем и без всякой таинственности. Мы сошли втроем, я села с Нечаевым рядом, моя дочь впереди, и мы быстро помчались из Женевы... Полиция никак бы не предположила, что Нечаев выехал из Женевы в полдень, в таком красивом экипаже и на таких быстрых конях; мне приятна была почти верная удача, а жутко, – это то чувство, которое, вероятно, испытывают игроки».

А когда Нечаева все-таки арестовывают в Цюрихе, Тучкова-Огарева идет просить за него. В разговоре с директором полиции она восклицает: «Неужели Швейцария, страна свободы, унизит себя до выдачи обвиняемого! <...> Пожалуйста, – продолжала я с жаром, – если вам дорога честь вашей родины, дайте средства вашему заключенному скрыться, бежать хоть в Америку, там пока не выдают еще людей; подумайте, это пятно ничем не смоеся, оно запишется в историю – пожалейте свободную Гельвецию, она не знает, что делает, она в буржуазной горячке!»

Нечаева всё же выдают. Проведя много лет в одиночке Алексеевского рavelина Петропавловки, он умрет несломленным.

Выдача Нечаева – случай почти исключительный в истории русско-швейцарских отношений. Впредь Швейцария не станет «унижать себя», и многочисленные русские бомбисты будут спокойно готовить свои теракты на берегах тихих альпийских озер.

В 1872 году в Женеву в первый раз приезжает Кропоткин. Приезжает учиться социализму: «После нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала...»

Русская секция Первого Интернационала – одна из самых активных, так что присмотримся к ней повнимательней.

«Женевские секции Интернационала собирались в огромном масонском храме Temple Unique, – описывает свои впечатления Кропоткин в “Записках революционера”. – Во время больших митингов просторный зал мог вместить более двух тысяч человек. По вечерам всякого рода комитеты и секции заседали в боковых комнатах, где читались также курсы истории, физики, механики и так далее. Очень немногие интеллигентные люди, приставшие к движению, большей частью французские эмигранты-коммунисты, учили без всякой платы. Храм служил, таким образом, и народным университетом, и вечерним сборным местом. Одним из главных руководителей в масонском храме был Николай Утин, образованный, ловкий и деятельный человек. Утин принадлежал к марксистам. Жил он в хорошей квартире с мягкими коврами, где, думалось мне, зашедшему простому рабочему было бы не по себе...»

Уже знакомый нам Николай Утин после провалившейся попытки сплотить русскую революционную эмиграцию пытается сам издавать журнал, который должен взять на себя роль отзвонившего «Колокола». В 1868 году он выпускает вместе с Бакуниным журнал «Народное дело», однако уже после первого номера, в котором почти все материалы принадлежат перу великого анархиста, происходит разрыв с Бакуниным. Видя, что место пророка

в своем отечестве занято, Утин делает ставку на Маркса и решает попробовать себя в качестве лидера русского марксизма. Он вступает в Интернационал, делается одним из доверенных лиц Маркса, секретарем русской женеvской секции, быстро выходит в руководители и продолжает издавать «Народное дело», но уже другим – антибакунинским. Редакция и типография журнала сперва располагаются позади вокзала на улице Монбриан, 8 (rue de Montbrillant) (дом больше не существует), потом, с декабря 1870-го, переезжают по адресу: Норд, 15, сейчас улица Баль (rue de Bale). Утин обращается к Марксу с просьбой быть представителем России в Генеральном совете Интернационала. В ответном письме, направленном на адрес журнала, Маркс дает свое согласие. В борьбе Интернационала против Бакунина Утин принимает самое активное участие, за что, верно, и заслуживает доверие Маркса, ненавидевшего русского бунтаря.

Борьба эта принимает порой и комические, и кровавые формы. Приходится Утину даже быть битым бакунинскими сторонниками. Так, революционер-эмигрант Сажин-Росс в своих воспоминаниях сообщает о приеме, устроенном русской молодежью посланцу Интернационала. Утин приезжает в Цюрих, чтобы выступить перед студентами с рассказом о работе женеvской секции, но русский Цюрих 1870-х годов не любит марксистов. «На второй день вечером состоялась демонстрация; все ее участники, человек 20–25, расположились небольшими группами в трех местах вдоль улицы, по которой Утин возвращался от квартиры Яковлевой (знакомая Утина. – *М.Ш.*) к себе в гостиницу во Флюнтерне (предместье города, где обычно жило всякое студенчество). Как только, идя от Яковлевой, он поравнялся с первой группой, его встретили свистки и враждебные крики; он ускорил шаг, а подойдя ко второй группе и услышав такой же прием, пустился бежать; когда же он проходил мимо нас четверых, последней группы, и услышал то же самое, то побежал уже полным аллюром. <...> Он угодил в канаву, сорвавшись с положенной через нее доски, разбил свои очки и поцарапал щеку и нос». В своих записках Сажин лукавит – на самом деле Утина в кровь избивли.

В воспоминаниях современников Утин редко выступает один. Члены его секции представляли собой весьма колоритное для неподготовленного наблюдателя зрелище. Писатель Боборыкин, встретившийся с Утиным на одном из Конгрессов мира и свободы, в работе которых Утин непременно участвовал, пишет в своих мемуарах:

«И в Берне, и на следующем конгрессе, в Базеле, русская коммуна (или, как острили тогда между русскими, “утинские жены”) отличалась озорством жаргона, кличек, прозвищ и тона. Всё это были “Иваны”, “Соньки”, “Машки” и “Грушки”, а фамилий и имен с отчеством не употреблялось. Мне случилось раз ехать с ними в одном вагоне в Швейцарии, кажется, после одного из этих конгрессов. Они не только перекликались такими “уничижительными” именами, но нарочно при мне отпускали такие фразы:

– Ты груши слопала все? – спрашивала Сонька Машку.

– Нет, еще ни одной не трескала.

Это был своего рода спорт “опрощения”».

В середине семидесятых Утин разочаровывается и в марксизме. Он отходит от политической деятельности, бросает Интернационал и уезжает в Брюссель учиться на инженера. Получив диплом, работает на строительстве железной дороги в Румынии. Утин с женой подают прошение о помиловании, в котором отрекаются от революционных грехов молодости, и в 1880-м получают разрешение вернуться в Россию. До своей смерти в 1883 году он работает инженером на Урале, а его жена – писательница Наталья Иеронимовна Утина-Корсини – становится автором произведений из жизни революционеров. Так, например, в романе «Жизнь за жизнь», в котором действие происходит на берегах Женеvского озера, она описывает семейную драму Герцена.

Среди тех, кого Боборыкин иронически называет «утинскими женами», были женщины по-своему выдающиеся. Например, Екатерина Бартенева. Вместе со своим мужем,

Виктором Ивановичем Бартеневым, она сначала бакунистка, потом в 1868 году вместе с Утиным становится членом-учредителем русской секции Интернационала, а в 1871 году принимает участие в Парижской коммуне.

Вообще на баррикадах Парижа много русских женецев. «Красной девой Монмартра» называют Елизавету Дмитриеву-Кушелеву. Вот еще одна удивительная судьба. Как это тогда было принято среди молодежи, Елизавета в семнадцать лет фиктивно выходит замуж – за неизлечимо больного чахоткой – и уезжает за границу, в Женеву. Здесь девушка сблизается с Утиным, вступает в русскую секцию Интернационала, принимается активно разоблачать бакунистов и за свои заслуги посылается представителем русской секции в Лондон к Марксу. Юная русская социалистка производит на того сильное впечатление, что сыграет еще свою роль в ее изломанной судьбе. Назревают революционные события в Париже, Елизавета отправляется на баррикады Коммуны. Восторженные мемуаристы описывают ее бросающей зажигательные речи в толпу с трибун всех митингов. Двадцатилетняя красавица, одетая в черное пальто, так воодушевляется во время речи, что распахивает полы и всем становятся видны ее развевающийся красный шарф и револьвер на поясе. Вместе с французской героиней Коммуны, Луизой Мишель, Елизавета командует коммунарем «женским батальоном» и принимает участие в боях. После «кровавой майской недели» она благополучно возвращается в Женеву. Однако героическая девушка скоро покидает круг революционной эмиграции и едет в Россию. Там ее ждет новое испытание. Она влюбляется в некоего Давыдовского, одного из лиц, проходивших по нашумевшему делу о подделке векселей – процессу «червонных валетов». В 1876 году Утин пишет из Женевы Марксу, что ее муж находится в тюрьме по обвинению в принадлежности к обществу мошенников, которые вымогали деньги обманными путями, и что Елизавета обратилась к своему бывшему товарищу по революции Утину с просьбой достать три тысячи рублей для оплаты адвоката. Маркс принимает случившееся близко к сердцу и пишет своему знакомому, историку и социологу, тоже, кстати, хорошо знающему Швейцарию, автору работы «Очерк истории распада общинного землевладения в кантоне Ваадт», Максиму Ковалевскому, в Москву: «Я узнал, что одна русская дама, оказавшая большие услуги партии, не может из-за недостатка в деньгах найти в Москве адвоката для своего мужа. Я ничего не знаю о ее муже и о том, виновен ли он или нет. Но так как процесс может кончиться ссылкой в Сибирь и так как г-жа *** решила следовать за своим мужем, которого считает невиновным, то было бы чрезвычайно важно помочь найти ему хотя бы защитника». Давыдовский на суде признает, что подделывал векселя, и получает ссылку. «Красная дева Монмартра» отправляется за своим «червонным валетом» в далекое Заледеево под Красноярском.



С.В. Ковалевская

Среди тех, кто едет из Женевы на парижские баррикады, и Анна Корвин-Круковская (Жаклар), старшая сестра знаменитой Софьи Ковалевской. Экзальтированная натура Анны проявляет себя уже в ранней юности. Начитавшись романов, генеральская дочь селится в башне и занимается самобичеванием. Романтическая девушка ищет выход из повседневности. Не имея возможности покинуть родительский дом, она улетает из него мыслью – начинает писать и тайком посылает тексты в журналы. Талант ее открывает Достоевский и публикует в своей «Эпохе». Гонорар, присланный за напечатанный рассказ, попадает в руки отца, происходит скандал. «Теперь ты продаешь свои повести, – возмущается старый генерал, – а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать».



А.В. Корвин-Круковская (в замужестве Жаклар)

Встреча с Достоевским все-таки происходит – под присмотром матери и теток. Юная неотразимая писательница производит такое впечатление на Достоевского, что он делает ей официальное предложение. Своей сестре Софье, будущему стокгольмскому профессору, Анна признается: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем

посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама жить хочу». Достоевский получает отказ. Сестры Корвин-Круковские решают фиктивно выйти замуж и уехать за границу. Находится подходящая кандидатура – Владимир Онуфриевич Ковалевский. Тот, несколько поколебавшись, останавливает свой выбор на младшей. Анна вместе с молодоженами в 1869 году отправляется за границу. Их пути расходятся: Ковалевский остается в Вене, Софья отправляется в Гейдельберг, а Анна едет в Париж. Там она быстро выходит замуж за революционера Жаклара, которого привлекают к суду по обвинению в заговоре против императора, и летом 1870 года оба вынуждены бежать в Швейцарию. В Женеве Анна сблизается с членами русской секции Интернационала и, когда начинаются события в Париже, отправляется с супругом и товарищами по русской секции во Францию. Сам Жаклар – один из лидеров Коммуны, сражается во главе батальонов Монмартра. Анна не отстает от мужа и входит в комитеты бдительности: борется за устранение монахинь из госпиталей и против уличной проституции. Вместе с Софьей, пробравшейся в Париж, чтобы уговорить сестру покинуть революционную столицу, Анна под бомбежкой занимается перевязкой раненых. После подавления Коммуны Жаклара арестовывают – ему предъявлено обвинение в руководстве событиями и в расстреле генералов. Анна с сестрой умоляют отца самого приехать во Францию и ходатайствовать перед версальским правительством о смягчении участи Жаклара. Старик-генерал Корвин-Круковский, знакомый Тьера по минеральным водам, приезжает с женой в Париж и, сговорившись с новой администрацией и подкупив мелких чиновников, устраивает побег зятя из версальской тюрьмы. Жаклары оказываются на свободе – сперва в Берне, потом какое-то время живут в Цюрихе. В Швейцарию к сестре приезжает Софья Ковалевская. Елизавета Литвинова в своих швейцарских воспоминаниях приводит слова Анны о младшей сестре, что та «мало понимает семейные радости; жизнь ее самой сложилась как-то искусственно». И дальше: «Я спросила: “Разве Софья Васильевна сама никогда не желала иметь детей?” – “Напротив, – ответила Анна Васильевна. – Софа не раз говорила, что ей хочется иметь дочь, способную к математике!”» Жаклары живут на случайные заработки – она переводит Маркса на русский язык. Рождается сын, жить в Швейцарии тяжело, и Анна с семьей переезжает в 1874 году в Россию, где получает оставшееся после смерти старого генерала наследство.

Но вернемся к Кропоткину. Город на Роне сыграл в его жизни, может быть, решающую роль. Кропоткинская «клятва на Воробьевых горах» приходится на женевские холмы: «Всё больше и больше я чувствовал, что обязан посвятить себя всецело массам. Степняк в своем романе “Андрей Кожухов” говорит, что каждый революционер переживает в жизни момент, когда какие-нибудь обстоятельства, иногда самые ничтожные сами по себе, заставляют его дать себе “аннибалову клятву” беззаветно отдаться революционной деятельности. Я знаю этот момент и пережил его после одного большого собрания в Temple Unique по случаю Парижской Коммуны (18 марта)... Возвратившись в свою комнатку в небольшом отеле возле горы, я долго не мог заснуть, раздумывая над наплывом новых впечатлений. Я всё больше и больше проникался любовью к рабочим массам, и я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы – я буду с ними».

Познакомившись поближе с работой секций Интернационала, Кропоткин, однако, скоро разочаровывается. Будущий теоретик анархизма не в восторге от марксистского социализма. Его тянет к «антигосударственникам», бакунистам. Так происходит его встреча с Николаем Жуковским, лидером женевских сторонников Бакунина. Жуковский, за границей с 1862 года, – неперемный участник всех швейцарских эмигрантских начинаний. Знакомец Герцена, он сотрудничает в «Колоколе», как представитель «молодой эмиграции» присутствует на женевском «объединительном» съезде 1864 года, участвует в издании революционных органов «Народное дело», «Община», «Работник». Эмигрантская жизнь не дается

легко – он умрет в Женеве от алкоголизма. «Жуковский принял меня дружески, – продолжает Кропоткин, – и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться с идеями и борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвилье».

Кропоткин решает ехать к часовщикам-анархистам. Перед отъездом происходит его примечательное прощание с Утиным.

«Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать.

– Только какая у вас на этот счет формула, – спросил я, – *cher compagnon* (дорогой товарищ) или *cher citoyen* (уважаемый гражданин)?

Утин посмотрел на меня и со вздохом сказал:

– Нет, вы к нам не вернетесь. Вы с ними останетесь и писать мне не будете, а напишете разве “*cher сукин сын*”».

Утинское пророчество окажется верным – с марксистами последователи Кропоткина станут ярыми врагами.

Сам Петр Алексеевич вернется в Женеву через несколько лет уже одним из признанных лидеров анархизма. В начале 1879 года он основывает здесь свою знаменитую газету “*Le Revolte*”. «Большинство статей пришлось писать самому, – вспоминает Кропоткин в “Записках революционера”. – Издательский капитал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я по мере сил старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали “*Le Revolte*” в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись».

Редакция газеты располагалась на улице Норд.

Женева становится для Кропоткина не только местом приложения его революционной энергии, но и городом личного счастья. В 1878 году он знакомится в начале лета с молодой студенткой Женевского университета Софьей Григорьевной Ананьевой-Рабинович, изучавшей биологию. Той же осенью они женятся. В письме другу Кропоткин сообщает: «Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще лучше. Она меня очень полюбила, я ее тоже». Разница в возрасте между ними – четырнадцать лет. Свое детство до семнадцати она провела в Сибири, куда был сослан ее отец. Софья Григорьевна будет верной подругой Кропоткину до самой его смерти и сама проживет долгую жизнь – умрет только в 1941 году.

Как и подобает не признающему государства и его рестриктов анархисту, Кропоткин селится в Женеве под чужим именем и без официального разрешения. Зажигательные статьи для своей мятежной газеты, однако, придется писать ему недолго – в 1881 году его вышлют из Швейцарии. Поводом послужит его протест против казни народовольцев. 21 апреля 1881 года на стенах домов в Женеве расклеиваются его прокламации, в которых казнь убийц Александра II расценивается как «неслыханное варварство, достойное протеста и возмущения цивилизованного мира».

Мысль издавать газету в Женеве пришла Кропоткину не случайно. Этот город – центр русской эмигрантской печати вплоть до самой революции.

Уже в шестидесятые года как реакция на нежелание Герцена поделиться «Колоколом» возникает несколько новых издательств и типографий, в том числе в 1866 году – типография Элпидина, в 1869 году – Трусова и другие.



Брошюра С.М. Степняка-Кравчинского

Михаил Константинович Элпидин – женеvский долгожитель, одна из тех ярких личностей, которые определяют лицо и атмосферу русской эмигрантской жизни. Участник «Земли и воли», в 1865 году он бежит из казанской тюрьмы и эмигрирует в Швейцарию. В Женеве он начинает заниматься издательской деятельностью и так преуспевает, что его называют «русским Гутенбергом». Типография его располагалась на улице Террасьер (rue Terrassie`re, 24). Славой своей в России он обязан тому, что издает в Женеве первое собрание сочинений Чернышевского. Среди других знаменитых изданий можно назвать выпущенную в 1892 году поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с запрещенными стихами, в 1895 году – «Исповедь» Толстого и другие не выходившие в России произведения писателя. Собирал Элпидин и книги. В частности, именно он приобрел после разгона правительственным указом русского Цюриха библиотеку Сажина. Элпидин был членом женеvской секции Первого Интернационала, с 1876 года – гражданином Швейцарии, а с 1886-го – еще и тайным агентом Департамента полиции, но надо отметить, что полученные от охраны 18 000 франков были потрачены опять же на издание запрещенной в России литературы.

В Женеве живет в семидесятые годы со своей женой Александрой Дементьевой, с которой он вместе судился в 1871 году по процессу Нечаева, Петр Никитич Ткачев, «русский бланкист», еще один вдохновитель русского террора. Порвав с Лавровым, перебазировавшимся из Цюриха в Париж, Ткачев возвращается в Швейцарию, где связывается со «Славянским кружком» Турского и арестованного уже Нечаева и занимает вакантное место революционного вождя. Энергичный Турский поддерживает Ткачева, и с 1875 по 1879 год они выпускают в Женеве «Набат», рассчитанный на студенческую молодежь. Программный номер выходит в ноябре 1875 года. Лозунг журнала – «Делать революцию, делать скорее!». Главная мысль издания – немедленная революция. Основной тезис сформулирован также в статье «Задачи революционной пропаганды в России»: «Поторопитесь же! В набат! В набат! Сегодня мы сила!» Бессмысленности пропаганды Ткачев противопоставляет полезность бунтов, пусть и подавленных: «Результат подавленного восстания – много крови, много жертв; он-то и важен».

В то же время в Женеве выходит «Работник» – нелегальная газета, издававшаяся эмигрантами-бакунистами З.К. Ралли, Н.И. Жуковским, А.Л. Эльсницем и другими, – первое русское периодическое издание, рассчитанное на фабричных рабочих и крестьян. С января 1875-го по март 1876-го печатается пятнадцать номеров.

Выпускается в Женеве и много других революционных изданий, жизнь которых, как правило, оказывается непродолжительной – один-два номера.

Выходит из-под женевского печатного станка не только «политическая» литература, но и запрещенная в России по совсем другим соображениям. Так, например, в Женеве увидели свет «в год обскурантизма» «Заветные сказки» Афанасьева, а через семь лет, в 1879-м, – «Русский эрот не для дам. Сборник эротических стихотворений».

Печатается и художественная литература революционного содержания. В 1892 году в женевской Вольной русской типографии выходит роман Софьи Ковалевской «Нигилистка». Закончить книгу профессор математики при жизни не успела, и текст публикуется с предисловием и в обработке ее друга жизни Максима Ковалевского. Прототипом главной героини является племянница жены Пушкина, Вера Сергеевна Гончарова, которая из жалости и революционного пыла выходит замуж за приговоренного к одиночному заключению нигилиста.

Славе своей как столице эмигрантской печати Женеве в чем-то обязана и такой колоритной фигуре, как Кузьма Ляхоцкий. Этот рабочий-типограф родом с Украины становится женевской легендой и пользуется славой местной знаменитости у нескольких поколений русских революционеров.

Упоминание о нем встречаем в «Записках революционера». Поскольку Кропоткину трудно найти типографию для издания своей анархистской газеты – швейцарские типографы зависели от государственных заказов и боялись потерять их, – он заводит собственную Юрскую типографию, находившуюся на улице Гротт (rue des Grottes), где издатель устраивается в маленькой комнатке с одним наборщиком-малороссом. «К несчастью, – вспоминает Кропоткин, – он не знал по-французски. Я писал статьи мои лучшим почерком <...> но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо “immediatement” он читал “immidiotarmut” или “inmuidiatmunt” и, соответственно с этим, набирал французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и всё налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать».

Ляхоцкий эмигрирует в Швейцарию, будучи замешан в дела землевольцев-южан, и с конца 1870-х годов безвыездно живет в Женеве, зарабатывая себе на жизнь печатанием революционных прокламаций и изданий любого направления.

«Кузьма Ляхоцкий сам набирал и печатал при помощи своей маленькой ручной типографии, – пишет о малороссе в своих мемуарах революционный публицист Федорченко-Чаров. – Впоследствии он приобрел в предместье Женевы, Ланей, небольшой домишко с маленьким куском земли, на котором выращивал различные овощи и, кормясь ими, остаток вывозил на женевский базар, чем и существовал. <...> В своем хозяйстве он завел также разведение свиней, и рассказывали даже о том, что когда в Женеве шла ожесточенная полемика между эсерами и искровцами, то он, будучи беспартийным, откликнулся на нее более чем оригинальным образом, изобличавшим в нем поистине сатириконовский талант: он снялся на фотографической карточке вместе с молодыми поросятами по бокам и сделал такую злободневную для этого времени надпись: “Я и моя партия”. Лично я не видел этой фотографии, но некоторые уверяли меня, что карточка красовалась в витринах женевских магазинов, и в том числе в витрине русского книжного магазина старого эмигранта 60-х годов известного Элпидина».

Успел послужить Кузьма Ляхоцкий за свою долгую эмигрантскую жизнь и большевикам. Карпинский в «Страничках прошлого» вспоминает: «Кузьма набирал решительно всё что угодно и для кого угодно. Всех заказчиков он добродушно называл “сочинителями” и удовлетворял по возможности каждого. <...> Работал Кузьма один. А тут как на грех приехала к нему неизвестно откуда взявшаяся жена, не раз упоминаемая в письмах Владимира Ильича Кузьмиха. Эта ворчливая красноносая старуха непрестанно ругала несчастного Кузьму за то, что он связывается с разными “аховыми” заказчиками, вместо того чтобы поступить на постоянную работу в швейцарскую типографию. “Сочинители” стали для Кузьмихи личными врагами. Особенно ненавидела она нас, большевиков. Выход очередного номера нашей газеты иногда зависел от благорасположения Кузьмихи. Недаром Владимир Ильич требовал извещений на тему: “бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех”».

Речь в этом отрывке идет об издании «Социал-демократа» – центрального органа большевиков во время войны в 1914–1915 годах. Не желая связывать выход теоретического органа партии с настроениями Кузьмихи, Ленин перенес выпуск издания в швейцарскую типографию в Бюмплице близ Берна.

Женева играет огромную роль в становлении русских революционных политических партий. Здесь проходят партийные университеты новички, здесь извергают речи ораторы, дерутся, иногда в буквальном смысле, за влияние на умы и души вожди. Здесь в тишине библиотек составляются руководства к террору, а в потайных лабораториях готовятся бомбы для соотечественников.



В.Н. Фигнер

На берегах Роны находится один из опорных заграничных пунктов народовольцев. В Женеве Вера Фигнер знакомится с Николаем Морозовым, членом Исполнительного комитета «Народной воли». Этот человек, один из главных лидеров бомбистов, приговоренный к бессрочной каторге, в качестве исключения из общей судьбы политкаторжан при сталинском социализме доживет до победы над Германией и умрет только в 1946 году. Здесь в восьмидесятые годы XIX века находят прибежище другие революционеры этого круга: Саблин, агент народовольческого Исполнительного комитета, который застрелится при аресте в

1881 году, Клеменц, приезжавший нелегалом в Россию, чтобы освободить Чернышевского, Степняк-Кравчинский, знаменитый террорист и писатель, автор культового романа «Андрей Кожухов», действие которого начинается в Женеве.



С.М. Степняк-Кравчинский

Сергей Кравчинский, легендарный герой поколения, в 1873 году одним из первых «уходит в народ», в 1874 году одним из первых народников бежит за границу – в Швейцарию. Революционер-литератор издает в Женеве «Сказку о копейке» и уезжает бунтовать Италию, участвует в восстании в Беневенто. Просидев девять месяцев в итальянской тюрьме, после освобождения за неимением денег пешком добирается до Женевы. Здесь он вместе с Клеменцем и другими издает в 1878 году «Общину». В том же году, не удовлетворяясь только литературной деятельностью, едет в Россию и 4 августа 1878 года убивает шефа жандармов. Снова побег за границу, снова в Швейцарию, затем Степняк-Кравчинский переселяется в Лондон, пишет нашумевшие беллетристические произведения, пропагандировавшие русских революционеров, вроде «Подпольной России». Будучи другом Этель Лилиан Войнич, он дает ей прообраз Овода для одноименного романа. Доде пишет с него своих русских персонажей «Тартарена в Альпах». Конец Кравчинского трагичен: он будет раздавлен поездом под Лондоном в декабре 1895 года.

Один из самых известных русских адресов Женевы – улица Кандоль, 6 (rue de Candolle). По этому адресу проживал брат моршанского полицейского исправника, «отец» русского марксизма Георгий Валентинович Плеханов.

Плеханов, в те времена еще недавний народник, бежит за границу в 1880 году, оставив в России только что родившую жену. Вскоре Розалия Марковна Боград, отдав дочку знакомым, следует за ним в Женеву, где после ее приезда оба узнают, что ребенок заболел и умер. Так начинается для Плехановых жизнь в Швейцарии – тридцать семь лет в эмиграции.

Первое время они бедствуют, Розалия Марковна учится на врача, он подрабатывает уроками. Живут то в Женеве, то в Божи под Клараном. Со временем она начинает заниматься врачебной практикой, воспитывает двух родившихся уже в Швейцарии дочек, жизнь налаживается, и Плеханов может посвятить себя целиком марксизму.

В 1883 году в Женеве основывается первая русская марксистская группа «Освобождение труда». Основатели – бывшие народники-«чернопередельцы»: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч.

Об Аксельроде, поселившемся в Цюрихе, более подробно рассказано в соответствующей главе.

Вера Засулич, пожалуй, самая прославленная русская террористка XIX века. В первый раз ее арестовывают в 1869 году по делу Нечаева – в его партию «Народная расправа» входила ее сестра, а сама Вера дала Нечаеву свой адрес для корреспонденции, что и послужило поводом для ареста. Петропавловка, ссылка. Вернувшись в Петербург, в 1878 году девушка стреляет в градоначальника Трепова. Дело разбирается под председательством Кони судом присяжных. Оправдание – характерное отношение русского общества к террору. Под аплодисменты восхищенной толпы покидает юная террористка здание суда. В том же году Засулич эмигрирует, сначала примыкает к народолюбцам, потом вместе с Плехановым и Дейчем входит в группу «Освобождение труда». Дейч вспоминает, что деятельность их в Женеве началась с серии рефератов, с которыми должен был выступить каждый член группы: «Вера Ивановна Засулич, как привлекавшаяся по нечаевскому делу, должна была сообщить о нем, но, ввиду собравшейся еще более многочисленной публики, она, и без того застенчивая, до того сконфузилась, что не в состоянии была произнести ни слова, – лекция ее так и не состоялась». С тех пор Засулич вообще не выступает публично, служа больше совестью революционной эмиграции: к ней обращаются по всем бесконечным эмигрантским склокам и ссорам как к третейскому судье.

Известность получает и марксистское перо Засулич. Она переписывается с Марксом, общается с Энгельсом, с которым знакомится в Цюрихе в 1893 году во время конгресса Интернационала, переводит на русский язык марксистские первоисточники, участвует во многих социал-демократических изданиях, станет одним из редакторов «Искры», после раскола будет среди лидеров меньшевиков. Личного женского счастья она так и не найдет, целиком посвятив себя нуждам социал-демократии. Революционер Мартын Лядов вспоминает в своих мемуарах: «Она жила настоящей старой студенткой – в комнате невероятный беспорядок, весь пол засыпан окурками, на столе, на стульях, подоконниках настоящая каша из остатков пищи, груды книг, невытой посуды, корректурных листков, разных принадлежностей туалета и бесконечного количества газет, журналов на разных языках. Сама Вера Ивановна – очень застенчивая, вечно курящая старушка, которая очень душевно встретила нас, как бы стараясь обласкать новых товарищей». При первой возможности она вернется на родину и умрет в 1919 году в голодном опустевшем Петрограде.



Книга Л. Дейча

Лев Григорьевич Дейч, политкаторжанин-долгожитель, доживет до военного лета 1941 года. Еще одна легенда русской революции. С 1874 года в народническом движении и первоначально бакунист. Бунтует безуспешно крестьян-молокан, потом участвует в знаменитом Чигиринском заговоре – с помощью подложного царского манифеста Дейч с товарищами обманом хотели поднять крестьян на восстание. Арестован, бежит из тюрьмы, эмигрирует в 1878 году в Швейцарию. Нелегалом возвращается в Россию, входит в общество «Земля и воля», вместе с Плехановым – один из основателей «Черного передела». С 1880-го снова в эмиграции, слушает лекции на философском факультете Базельского университета, основывает в Женеве журнал «На родине», под влиянием Плеханова дрейфует в сторону марксизма. В отличие от своего друга-теоретика, Дейч – революционер-практик. Он занимается организацией в Женеве типографии группы и всеми техническими вопросами. В 1884 году Дейч арестован при попытке провезти литературу в Россию, приговорен к 13 годам каторги. В 1901 году он бежит из Сибири проторенной еще Бакуниным дорогой через Японию и США и становится в эмиграции одним из лидеров социал-демократии. Его называют «искровским министром финансов и управделами». После февраля 17-го он вернется на родину, будет вместе с Плехановым критиковать большевистский переворот, останется в Советской России, чудом переживет чистки.



Г.В. Плеханов

Задача группы Плеханова – издавать как можно больше марксистской литературы и наводнять ею Россию. Для осуществления нужны деньги. Источник средств можно было бы назвать парадоксальным, если бы речь шла не о России. Деньги на гибель русского капитализма щедрой рукой дают сами капиталисты. Из воспоминаний Аксельрода: «В Швейцарию приехал один русский барин-миллионер, врач по образованию, уже давно не занимавшийся практикой (а может быть, и никогда не практиковавший). К политике он никакого отношения не имел, жил в свое удовольствие, соря деньгами и пьянствуя. Но... он был шурином того Ваймара, который в 70-х годах помог Кропоткину бежать из тюремной больницы. И по семейной традиции он считал себя радикалом. Этот господин, – кажется Гурьев, – через одного эмигранта, одессита Долевича (большого любителя выпить и компанейского малого), познакомился с Плехановым и со мною. По-видимому, встречи с революционерами льстили его самолюбию, и сам он в моменты относительного протрезвления был не прочь поддержать честь имени своего шурина. Долевич предложил ему дать группе “Освобождение труда” деньги для издания большого солидного журнала. Богач согласился и в течение некоторого времени отпускал нам довольно крупные суммы».

После взрыва бомбы на Цюрихберге в 1889 году швейцарское правительство высылает нескольких эмигрантов, в том числе Плеханова. Высылка по-швейцарски означает следующее: Плеханов не имеет права жить в Швейцарии, но он селится в непосредственной близости от Женевы на границе в местечке Морне (Mornex), а поскольку семья его с детьми остается жить там, где и жили, он может приезжать домой сколько хочет. Так Плеханов проводит в «ссылке» несколько лет, пока в 1894 году под нажимом швейцарских друзей решение об «изгнании» Плеханова не отменяется. Он возвращается в Женеву. В этой квартире на улице Кандоль на втором (по русскому счету) этаже с июля 1894 года прописана жена Плеханова Розалия Боград с детьми. В ноябре 1895 года Плеханов получает временное разрешение снова жить в Женеве, а с 1904-го – постоянное. Здесь он живет до 1917 года – до своего возвращения в Россию.

Постепенно он сам и его квартира становятся русской достопримечательностью Женевы. «В Женеве мы группировались тогда вокруг вдохновлявшего нас центра, – вспоминает Бонч-Бруевич, – и этим центром, конечно, был Георгий Валентинович Плеханов».

И.Н. Мошинский, делегат Второго съезда социал-демократической партии, вспоминает, что, направляясь в Брюссель, делегаты собирались в Женеве: «Пришлось, конечно, исполнить долг добропорядочного социал-демократа и отправиться на поклон к Георгию Валентиновичу. Его, как известно, всегда можно было найти по вечерам, за час до сна, в кафе Ландольта, помещавшемся в том же доме, где наверху жила семья Плеханова, за кружкой пива. Георгий Валентинович уверял, что это – лучшее средство крепко заснуть, что научил его этому средству какой-то швейцарец-доктор. И он неизменно и аккуратно, как моцион перед сном, выполнял это оригинальное предписание врача».

Нанесение визита первому русскому марксисту – почетная обязанность не только приверженцев социал-демократических учений. «По субботам у Г.В., – читаем дальше у Мошинского, – всегда можно было найти несколько посетителей, сплошь и рядом из непартийной радикальствующей публики, путешествующей по Европе и считающей своим демократическим долгом посетить Г.В. Плеханова».

Плеханова посещает, например, Николай Бердяев, приехавший в Женеву для участия во Втором международном съезде философов.

В книге «Самопознание» Бердяев так рассказывает об этой встрече: «Вспоминаю, что я был на международном философском конгрессе в Женеве в 1904 году. Я тогда встречался с Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм, и особенно рационализм материалистов, наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его законами, с его детерминизмом и казуальными связями есть мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализма, он раскрывается вторичному, рационализированному сознанию. Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил», – заключает Бердяев.

«Квартира Плехановых, – пишет в своих воспоминаниях И. Хародчинская, секретарша Георгия Валентиновича, – состояла из нескольких небольших комнат, обставленных самой простой, незатейливой мебелью. Лучшую комнату занимал кабинет Г.В., выходивший окнами на тихую неторговую улицу. По другую сторону улицы тянулся молчаливый фасад Женевского университета, с прилежавшим к нему с одной стороны садом (Bastion). Пространная комната производила с первого же взгляда впечатление настоящей лаборатории ученого и мыслителя. По стенам тянулись простые, заставленные книгами полки; кое-где – репродукции из западноевропейских музеев, “Моисей” Микеланжело, снимки картин эпохи итальянского Возрождения, гипсовый бюст Вольтера, прекрасный портрет Карла Маркса в большой раме; этажерка со специально подобранной литературой по искусству и по истории первобытной культуры; большой письменный стол, беспорядочно заваленный книгами, письмами, газетами, журналами на всевозможных наречиях и всевозможных направлений и оттенков; несколько мягких стульев, большое, невысокое кресло, в котором сидел Г.В. во время работы, книги на маленьких столах у окна, а иногда и на полу, – вот всё убранство кабинета. Г.В. не любил, когда убирали его стол. Он говорил с добродушным укором, что после наведения порядка ничего не найти».

Богатая библиотека Плеханова складывается помимо прочего и из книг, подаренных посещавшими его авторами. Федорченко-Чаров в мемуарах пишет о своем первом визите на улицу Кандоль: «Помню, уже в передней, когда он провожал нас в конце вечера, почти на лестнице, с присущим только одному ему юмором, он рассказывал нам, как к нему на днях в квартиру заявила одна расфуфыренная, раскрашенная и надушенная русская дама и преподнесла ему “в знак любви и уважения” полное собрание своих сочинений. “И что же бы вы думали, – сказал Г.В. Плеханов, – кто сия дама? Представьте себе, „известная“ А.А. Вербицкая”. Как потом оказалось, многие русские журналисты и писатели, бывавшие

в Женеве, считали почему-то своим долгом посетить Г.В. Плеханова и преподнести ему что-нибудь из своих произведений».

«Известная» Вербицкая – самая читаемая в начале прошлого века русская писательница. По отчетам библиотечной выставки 1911 года книги Вербицкой занимали первое место в России.

В центре внимания особенно молодых революционеров находятся и дочери Плеханова, Лида и Женя, учившиеся в Женевском университете, «совершенные француженки, плохо и с акцентом говорившие по-русски», как считает меньшевик Борис Горев в своих воспоминаниях «Из партийного прошлого». С ним соглашается и другой мемуарист, анархист Сандомирский: «Это были родившиеся в Женеве и отчасти уже ошвейцарившиеся простенькие девицы, которых отделяло от русской студенческой колонии почти полное незнание русского языка». А вот мнение будущего большевика Луначарского, который, приехав в Женеву, сразу – как полагается – отправился на квартиру Плеханова. По дороге ему встречаются выходявшие из церкви женевские девушки и вызывают в юном революционере бурю негодования: «Я очень ярко помню тогдашние мои впечатления об этих мешаночках с бело-розовыми лицами, с глазами ясными, словно их только что вымыли в воде и опять вставили в кукольные орбиты, девочек и девушек, таких дородных и спокойных, что я ни на минуту не удивился бы, если бы они вдруг замычали. В моей душе боролись тогда два чувства. С одной стороны, я находил этих выпоенных на молоке и выкормленных на шоколаде девушек интересными, с другой – я возмущался тем облаком буржуазно-растительной безмятежности и спокойствия, которое, на мой тогдашний взгляд, окружало их юные головы. Я помню, что, когда я попал наконец к Плеханову и он вышел ко мне в какой-то светлой пижаме и туфлях и начал угощать меня кофе, я прежде всего разразился филиппикой против женевских барышень. Позднее я познакомился с его дочерьми, которые оказались ни дать ни взять сколком с осуждаемого мною типа “женевских буржуазных девушек”».

Обе дочери Плеханова получают медицинское образование и помогают в работе матери, открывшей в Сан-Ремо, в Италии, санаторий. Там же, в семейном санатории, проводит лето сам Георгий Валентинович, всю жизнь страдавший от болезни легких.

Русская катастрофа, для приближения которой так много сделал их отец, пощадит дочерей. Екатерина Кускова, известная политическая деятельница времен революции, напишет в воспоминаниях: «С Женей мы встретились в Женеве во время Второй мировой войны, вспоминали старую Женеву и их жизнь тут. Теперь это была уже не девочка, а полная красивая женщина, с необычайным благоговением говорившая о своем отце и собиравшая материалы для его биографии».

Частым гостем на квартире Плеханова до раскола партии бывает Ленин, не говоря уже о всех других вождах социал-демократии: Мартове, Аксельроде, Дане, Засулич и пр. Случаются и неожиданные визиты. «В одно февральское утро в Женеве, в квартире Г.В. Плеханова позвонил какой-то неизвестный господин, – читаем в очерке Дейча “Герой на час”. – Плеханов лежал больной в постели и никого не принимал, о чем и было сообщено пришедшему, отказавшемуся назвать свое имя. Но он настаивал, что ему чрезвычайно необходимо увидеть Плеханова. Когда неизвестный господин был наконец введен в комнату больного, он назвал себя. То был священник Георгий Гапон». «Отец» русской революции 1905 года пришел к «отцу» русского марксизма объявить себя социал-демократом. Впрочем, в марксистах Гапон будет ходить недолго – очень скоро он объявит себя эсером, но рассказ о женевских эсерах мы продолжим ниже.



Улица Кандоль

Окна плехановской квартиры выходят на университет, еще один русский центр Женевы. В левом крыле расположена библиотека, в которой занимались и Плеханов, и Ленин, и многие другие известные и неизвестные русские эмигранты. Под этими сводами работали вожди над своими трудами. Здесь создаются, например, такие произведения Ленина, как «В Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете» и «Задачи отрядов революционной армии», в которых автор призывает рабочих вооружаться «кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр. и т. д.)». Пусть, пишет читатель университетской библиотеки, «одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств для восстания». С верхних этажей рабочим следует осыпать солдат камнями, обливать кипятком и кислотами. Знали бы женевские библиотекари...

Само здание университета построено в 1868–1872 годах, на месте снесенных средневековых укреплений, городских бастионов, куда часто любили приходить во время своих прогулок по городу Достоевские.

Русские учащиеся с самого открытия нового университета вносят своеобразный колорит в женевскую студенческую жизнь. Отношение студентов к студенткам было, особенно в семидесятые годы, как и в Цюрихе, неоднозначным. Цюрихская студентка Пантелеева, вспоминая годы учебы в Швейцарии, пишет о швейцарских студентах: «...В Женеве они замазывали чернилами пуговицы светлых жакетов сзади. Давно окончившая женщина-врач, слушавшая лекции в Женеве, рассказывала потом, как студенты Женевского университета пригласили студенток на какой-то общестуденческий праздник и в их присутствии запели скабрёзные песни. На замечание одному из соседей, что, вероятно, в присутствии своих сестер они этого не споют, получился ответ не столько нахальный в устах этого юнца,

сколько показывающий невероятную тупость: “То сестры, а вы студентки!” Конечно, они ушли с такого гостеприимного празднества».

О количестве русских учащихся ярко говорят следующие цифры: в 1900 году в числе 819 студентов насчитывается 557 иностранцев, включая 220 русских, то есть четверть всех студентов – из России. В зимний семестр 1905–1906 года русские учащиеся составляют 57 процентов (!) всех студентов. Вождь эсеров Чернов замечает в своей книге «Перед бурей» об этом времени: «Молодежи скопилось за границей вообще, а в Женеве в особенности, множество».

Упомянем здесь несколько имен женевских студентов из России. Лина Штерн из Либавы получит известность как биохимик и физиолог. Экстраординарный профессор медицины Женевского университета в 1925 году вернется в Россию и возглавит научный институт в Москве. В 1949 году, академик и член Еврейского антифашистского комитета, она будет объявлена космополитом и арестована вместе со всем комитетом.

Другой женевский студент-биохимик прославится тем, что забальзамирует тело вождя. Будущий советский академик Борис Збарский оканчивает в Женеве университет в 1911 году.

Обращает на себя внимание большое количество еврейской молодежи из России, учившейся в швейцарских университетах, что находит объяснение, в частности, в разного рода ограничениях в доступе к высшему образованию на родине. Отметим, что студенты из России, входившие в еврейские социалистические или сионистские организации, считались в швейцарских городах неотъемлемой частью русской колонии. Так, в Женеве одной из самых видных фигур среди русского студенчества был Хайм Вейцман, будущий основатель и первый президент Израиля. В университете студент из белорусского Пинска встречает свою будущую супругу. Ростовчанка Вера Кацман напишет в своих мемуарах: «После окончания учебы на медицинском факультете я собиралась вернуться в Россию и работать врачом». Однако после недолгого пребывания на родине она последует за супругом в Англию и вернется в Россию уже при совсем других обстоятельствах – спасать из ГУЛАГа сестру мужа. В Швейцарии получили высшее образование также брат и три сестры Вейцмана. Средняя из них, Мария, учится в Цюрихе с 1905 по 1911 год, потом возвращается в Россию и работает всю жизнь врачом. Незадолго до смерти Сталина ее арестовывают в период кампании против «врачей-убийц». Чтобы спасти золовку, в Москву специально приезжает Вера Вейцман. На приеме у Ворошилова, в то время советского «президента», она добивается освобождения Марии, и в 1955 году та со своим мужем, также прошедшим лагеря, получает выездные визы и уезжает в Израиль.

Кстати, отметим, что на рубеже веков в русских путеводителях по Швейцарии обильную рекламу дают не только отели и часовые магазины, но и учебные заведения, а также книжные магазины – спрос рождает предложение. Например, в «Русском Бедекере» за 1909 год читаем: «Русская прогимназия для детей обоего пола от 7 лет. Женева, Avenue du Mail, 26. Подготовка в местные учебные заведения». Здесь же: «Книжный магазин А. Эггиман и К⁰. Женева, Rue Centrale, 1, и Corraterie, 3. Большой выбор русских книг». А вот еще: «Книжный магазин Кюндигю, Женева, Corraterie, 11. Русские и иностранные книги». Подписку на любые русские газеты и журналы предлагает и «Книжный магазин du Mont-Blanc», располагавшийся в доме № 9 на одноименной улице.



Путеводитель по Швейцарии «Русский Бедкер» за 1909 год

После первой русской революции рост числа приехавших из России ставит вопрос и о русской школе в Женеве для детей эмигрантов. Открывает такую школу Иван Фидлер, директор одноименного училища в Москве, в котором был штаб революционных групп. Сын писателя и библиофила Николая Рубакина, Александр посещал это заведение и пишет о нем в своих воспоминаниях: «Отцу и мне некоторый период времени пришлось жить в организованной здесь только что средней школе для детей русских эмигрантов. Школу эту основал Иван Иванович Фидлер, бывший директор известного “фидлеровского реального училища” в Москве. Он не был революционером. Но получилось так, что в его школе находился штаб Декабрьского восстания, и Фидлеру пришлось эмигрировать из России. В этой же школе жила и жена А.М. Горького, Е.П. Пешкова, со своим сыном Максимкой, который там же и учился». Отметим, что Екатерина Пешкова играла в становлении школы большую роль и практически руководила ею. К школе имел непосредственное отношение и известный большевик Семашко – он преподавал историю и географию и одновременно был школьным врачом. В 1908 году школа переехала в Париж. Для большинства русских студентов учеба была, однако, лишь поводом для того, чтобы окунуться в кипящий эмигрантский котел и найти свое место в революции. Общее настроение молодежи тех лет передает в своих воспоминаниях Герман Сандомирский, приехавший в Женеву в 1901 году: «Когда мое переселение стало фактом, я вздохнул облегченно. Теперь оставалось приняться за работу. Университет интересовал меня гораздо меньше, чем политические партии, с которыми мне хотелось познакомиться как можно скорее. Но я понимал также, что, если не поступлю в университет, родные перестанут высылать мне денег и мне придется возвратиться восвояси. Нужно было устроить свои дела так, чтобы учеба занимала у меня как можно меньше времени. Поэтому я и выбрал захудалый “факультет литературы и социальных наук”».

Интересно, что наибольшим успехом среди женевского студенчества пользовались эсеры, окруженные ореолом героев террора, и наименьшим – большевики. «Большевиков в Женеве было немного, – свидетельствует Луначарский в своих “Воспоминаниях и впечат-

лениях», – мы были, в сущности, тесной группой, сдавленной со всех сторон эмиграцией и студенчеством, шедшим большею частью под знаменами меньшевиков и эсеров».

Оставив университет, где юноши и девушки из России еще только становились революционерами, совершим теперь прогулку по Женеве русских революционеров-профессионалов. Из парка Бастион пройдем несколько шагов по улице Кандоль в сторону Роны. Были времена, когда русская речь здесь была слышнее французской. «Rue de Candolle кипела как муравейник с утра до вечера; обычно на ней трудно было услышать иной язык, кроме русского, а теперь на ней буквально стон стоял от гула русских голосов». Так один из революционеров вспоминает в «Красной летописи» (№ 1 за 1922 год), как эмигранты в Женеве узнали о расстреле 9 января 1905 года. В тот день многие из них устремились в «свое» кафе «Ландольт» (“Landolt”), расположенное на углу, в соседнем здании с домом Плеханова (rue de Candolle, 2).

Кафе это было открыто братьями Ландольт в 1875 году. Расположенное напротив университета, оно становится излюбленным местом встреч и студентов, и нескольких поколений русских эмигрантов. Чаще всего сюда заходят социал-демократы. Здесь же, в «Ландольте», происходит окончательный разрыв между бывшими товарищами. В этих стенах проходит Второй съезд Заграничной лиги русской социал-демократии в октябре 1903 года. Съезд созывается по настоянию меньшевиков, основным вопросом повестки дня является доклад Ленина. Бонч-Бруевич вспоминает: «Накануне открытия съезда, когда Владимир Ильич ехал на велосипеде со своей квартиры к кому-то из нас, с ним стряслась беда: велосипед попал в рельсы трамвая, и Владимир Ильич на полном ходу упал, сильно ушибся, причем ударился лицом о камень, рассек бровь, подбил и даже несколько повредил глаз, сильно зашиб руку и бок. Он кое-как добрался до врача, который оказал ему помощь. С некоторым опозданием с повязкой на глазу пришел он на съезд». После доклада Ленина выступает Мартов. Бывшие друзья яростно поливают друг друга грязью. В начавшейся перебранке Плеханов вызывает Мартова на дуэль. Ленин со своей верной когортой покидает съезд Лиги. Все происходит по заведенной некогда еще Герценом и «молодой эмиграцией» традиции – всякие объединительные собрания только увеличивают эмигрантские распри.

После раскола из общего зала обе группировки перебираются в боковые комнаты «Ландольта» – меньшевики Мартов, Дан и другие собираются в одной, Ленин с верными приверженцами – в другой. Плеханов ходит пить свое вечернее пиво сначала к большевикам, но скоро переходит в меньшевистскую комнату. Здесь же собираются партийцы отмечать праздники. Бобровская-Зеликсон в своих «Записках подпольщика» вспоминает: «Новогоднюю ночь 1904 года Владимир Ильич провел с нами. Слушали оперу “Кармен” в довольно плохой постановке, пили пиво в “Ландольте”, гуляли по оживленным в эту ночь улицам Женевы. При встречах с меньшевиками демонстративно отворачивались друг от друга». В «Ландольте» Ленин поднимает новогодний тост за «приближение великой бури».

Сюда же, в «Ландольт», приходят русские эмигранты и после празднования Эскалады, национального праздника кантона Женева. 12 декабря женеvцы отмечают годовщину неудачного приступа герцога Савойского Карла-Эммануила в ночь с 11 на 12 декабря 1602 года. Об этом празднике писала еще Анна Григорьевна Достоевская, и поскольку ее мнение, без сомнений, передает мнение самого Федора Михайловича, приведем ее оценку торжественного события: «... Когда Duc de Savoie хотел овладеть Женевой, то его бароны, воспользовавшись сном женеvцев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже досадно смотреть. Одной бабе, которая вылила на голову барона помой из окна, даже сделан памятник на площади, “magnifique fontaine”, как они его называют (печь идет о Fontaine de l’Escalade. –

М.Ш.), где она представлена с горшком на голове... Я уговорила Федю идти смотреть. Часов в 8, когда стемнело, мы отправились гулять, и там каждую минуту попадались целые толпы разряженных мальчишек, которые в разных рожках с необыкновенной радостью бегали по улицам (у них наряжаются в этот день) и пели песни. Потом мы выбрались наконец на большую улицу, где было порядочно много народу. Тут мимо нас прошла процессия очень плохо одетых рыцарей и дам, просто хуже, чем у нас бывает в самых плохих балаганах на Святой неделе».

А вот воспоминание об Эскаладе Бонч-Бруевича: «В декабре каждого года в Женеве совершается широконародный праздник Эскалада. Женевцы празднуют свое давнишнее освобождение от иноземной зависимости... Город оживает. Устраивается народное празднество, всюду раскидываются карусели, множество палаток со всякими сладостями и яствами. Приезжает народный цирк, тир, различные фокусники, зверинцы и т. п. Но самый интерес впереди – это вечерний карнавал, когда все идет на улицы, наряженные в различные костюмы, в маски. Веселье заливает город. Все веселятся, осыпают друг друга конфетти, опутывают серпантинном, и улицы блещут нарядными огнями, фейерверками, весельем, пением. Мы, русские политические эмигранты, конечно, ходили смотреть на это зрелище, но, по свойственной нам угрюмости, мешковатости и застенчивости, никогда не принимали живого участия в этом четырехдневном народном праздничном веселье. И вот, когда у нас в партии страсти кипели изо всех сил, когда раскол на большевиков и меньшевиков разделял всех и когда среди нас не было веселых настроений, наступил декабрь 1903 г. Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию. Не до веселья было нам. На улицу даже не тянуло. Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживившийся, веселый.

– Что это мы все сидим за книгами, угрюмые, серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!..

...Мы шумной толпой вышли на улицу. Погода стояла прекрасная, теплая. Огни всюду светились радостно, и многоводная, быстротечная горная река Арва, которая протекала здесь совсем поблизости, так радовала своим переливчатым шумом... Мы зашли к товарищам, всех увлекая с собой на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич – впереди всех. Мы радостной толпой влились в общее веселье улицы и пели, и кричали, и шумели, всё более увлекаясь общим приподнятым настроением. Серпантин летел от нас во все стороны более энергично, чем от других компаний, и мы усердно обсыпали конфетти наиболее интересные и живые маски.

И вот раздалась песня. Пели все, пела вся улица веселые, бодрые песни, в которых звучали то мотивы “Марсельезы”, то мотивы “Карманьолы”. Кое-кто принялся танцевать. Вдруг Владимир Ильич, быстро, энергично схватив нас за руки, мгновенно образовал круг около нескольких девушек, одетых в маски, и мы запели, закружились, заплясали вокруг них. Те ответили песней и тоже стали танцевать. Круг наш увеличился, и в общем веселье мы неслись по улице гирляндой, окружая то одних, то других, увлекали всех на своем пути... Наконец, изрядно поуоставши, отправились мы в наше излюбленное кафе Ландольта, где постоянно бывала русская политическая колония, и отдали честь великолепным сосискам с кислой тушеной капустой, которые мы все так любили».

Предполагаем, что в памяти мемуариста смешались события двух лет и описываемые пляски происходили годом позже, в декабре 1904-го, а причина, почему Ленин так веселился, заключается в том, что в тот день было постановлено начать выпуск органа большевиков «Вперед».

Пройдя два шага от «Ландольта», мы оказываемся на площади Пленпале (Plaine de Plainpalais). Здесь на Авеню-дю-Май (avenue du Mail), в доме № 4, находилось кафе «Ханд-

верк» (“Handwerk”), выходящее боковой стороной на улицу Вье-Бийар (rue du Vieux-Billard). Внизу располагался ресторан, на втором этаже – залы: большой зал, вмещавший несколько сотен человек, и сад «Алябра», оба использовались для собраний эмиграции из разных стран. По этому адресу, в частности, с 1898 года было зарегистрировано Общество русских студентов.

Описание обстановки, царившей в «Хандверке», находим в воспоминаниях М. Сизова, одного из женевских эмигрантов тех лет: «В кафе было не менее душно, чем на митинге. Почти все столики были заняты, и разгоряченные вином или абсентом посетители вели горячие разговоры, изредка отвлекаясь взвизгиваниями шансонетной певички, вертевшейся волчком на открытой сцене.

Этажом выше был такой же зал, с такими же изображениями необычайных для женевских граждан происшествий, вроде замерзшего когда-то Женевского озера и других не менее патриотических событий. Такая же эстрада возвышалась в углу верхнего и нижнего залов. Как вверху, так и внизу было много народу, так же душно от человеческих испарений, но какая глубокая разница была между толпой наверху и внизу!

Там, наверху, народные витии парили в облаках застилавшего Россию кровавого тумана, зывали к толпе и потрясали сгущенный воздух резкими кликами, заканчивая свои речи обычной командой: “Марш, марш вперед, рабочий народ!”

Здесь, в кафе, посетители, по большей части принадлежащие к “рабочему народу”, к его аристократической части, одетые с иголки, вылощенные, упитанные, кейфовали за стаканом вина, потягивали через соломинку мутную жидкость – абсент, мирно беседовали, спорили, плотоядно посматривали на шансонетную певичку, дико хохотали и распевали вошедшую в то время в обиход уличной жизни песенку».

«Хандверк» – место проведения общеэмигрантских русских собраний, сюда приходят на митинги и рефераты вне зависимости от партийной принадлежности. Это место, куда студенты ходят слушать революционных ораторов, чтобы определиться и выбрать себе партию по душе. «У каждой заграничной революционной организации имелись свои клубы, читальни, столовые, – вспоминает эмигрант-публицист Федорченко-Чаров. – Но большие рефераты и лекции обычно устраивались в зале Handwerk, которая в такие дни наполнялась так, что некуда было просунуть палец. Так было на рефератах Плеханова, Ленина, Чернова и Мартова. Все русское студенчество в Женеве в то время служило резервуаром, из которого тогдашние политические партии черпали своих приверженцев».

В «Хандверке» кипят страсти и порой переливаются через край. У того же Федорченко-Чарова читаем о нравах политической эмиграции: «...Никогда не забуду, как на одном из рефератов Г.В. Плеханова анархисты, полные бессильной злобы, испортили электричество, а другой раз выставили свою гвардию во главе с саженого роста кавказцем Канчели с дубинкой в руках у входа в Handwerk, где тот же Плеханов должен был читать реферат, чтобы таким образом терроризировать идущую на реферат публику».

О кипящих страстях пишет и Николай Валентинов-Вольский, в то время еще рьяный защитник Ленина. Он вспоминает, что, ходя по эмигрантским собраниям, «нападал на меньшевиков, особенно на Аксельрода, с такой грубостью, что, слушая мои выпады, столь же, как я, экспансивная меньшевичка С.С. Гарви не выдержала и швырнула в меня кружкой с пивом».

23 января 1905 года в «Хандверке» проводится общеэмигрантский митинг всей русской колонии, посвященный Кровавому воскресенью, на нем присутствует и много других рабочих-иностранцев. На этом митинге солидарности с петербургским пролетариатом ораторы так распалаяют публику, что та отправляется с демонстрацией по ночным женевским улицам, пугая сонных швейцарских обывателей. «...Мы вышли на улицу и со знаме-

нем и песнями стали манифестировать, – вспоминает участник событий в “Красной летописи” (№ 1 за 1922 год). – Всё обошлось бы чинно и благородно, если бы не женевская полиция и... не рабочие-итальянцы. <...> Тут появилась полиция и предложила разойтись. Часть публики повиновалась, и остались главным образом русские и итальянцы. Мы пели, а полиция нас разгоняла. Началась схватка. Полицейские пустили в ход свои палки, а мы кулаки и всё, что под руками. Рассвирепевшие итальянцы бросились к русскому консульству с намерением выбить в доме консула стекла, но полиция рассеяла их.

– Молодцы итальянцы! Здорово! – кричал один русский товарищ рабочий, наблюдая, как здоровенный каменотес крошил полисменов.

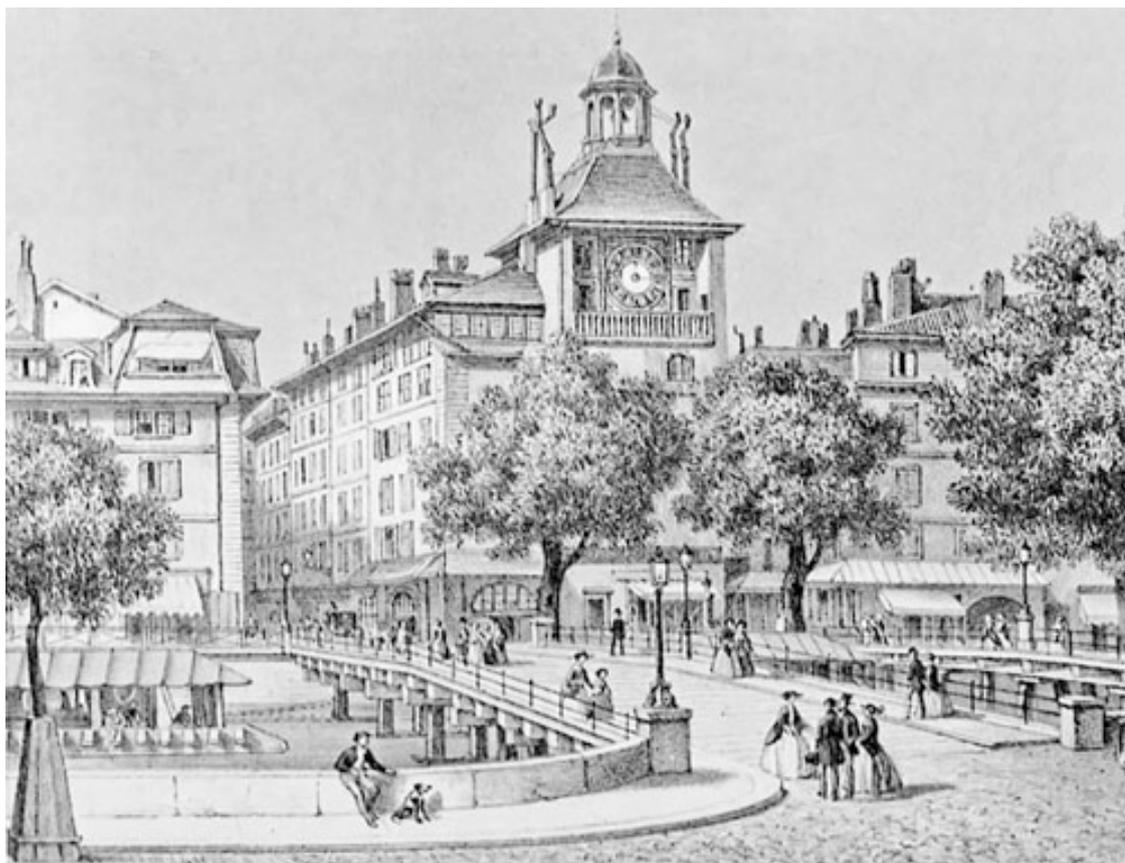
– Это по-нашему! По-русски! – вопил ярославец и сам пустился на помощь итальянскому товарищу».

Недалеко от «Хандверка», на той же улице Авеню-дю-Май (avenue du Mail, 15), располагается пансион Рене Морар (R. Morhard), который содержится на деньги социал-демократической партии и служит пристанищем всем приезжавшим в Женеву партийцам. Здесь останавливаются русские эсдеки: Дейч, Бауман, Литвинов, Бонч-Бруевич, Красиков, Гусев (Драбкин), Боровский и многие другие, а после раскола – преимущественно сторонники большевизма. Во «Встречах с Лениным» Валентинов напишет об этом пансионе: «Отель на Plaine de Plainpalais, оплачиваемое партией обиталище, где останавливались приезжие из России, главным образом будущие советские чиновники, сторонники Ленина». «Хозяйка, – вспоминает Бонч-Бруевич, – всегда сочувственно относилась к русским революционерам, берегла их, оказывала им кредит, давала им приют и устраняла все недоразумения с паспортами». Мадам Рене Морар была дочерью парижского коммунара и женой немецкого социал-демократа.

Сюда, в этот пансион на Авеню-дю-Май, приезжает в мае 1903 года из Лондона Ленин, заболевший от нервного напряжения, – шла подготовка к историческому Второму съезду партии. Крупская вспоминает, как, посоветовавшись с медиком-большевиком Тахтаревым, «вымазала Владимира Ильича йодом, чем причинила ему мучительную боль... По приезде свалился и пролежал две недели». С тех пор Ленин никогда не лечится у врачей-партийцев и после завоевания власти всегда будет пользоваться услугами лучших буржуазных специалистов. Свои мучения, связанные с пребыванием в этом пансионе, он вспомнит, когда будет писать письмо Горькому, узнав, что тот лечится у какого-то неизвестного русского врача, близкого к партии: «Дорогой Алексей Максимыч!.. Известие о том, что Вас лечит новым способом “большевик”, хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же в 99 случаях из 100 врачи-товарищи “ослы”, как мне рассказал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелких случаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно!!»

От угла площади Пленпале берет свое начало улица Каруж (rue de Carouge) – пожалуй, самая русская улица Женевы.

«Каруж, как и вся Женева, был очень тихим провинциальным уголком, – пишет в своих воспоминаниях “Пережитое” Владимир Зензинов, один из лидеров эсеров. – Здесь находились генеральные штабы обеих революционных партий – Партии социалистов-революционеров и Российской социал-демократической рабочей партии, здесь же выходили и оба журнала – “Революционная Россия” социалистов-революционеров и “Искра” социал-демократов».



Женева середины XIX века

Каруж, где в основном селились русские студенты, самая многочисленная и шумная часть русской колонии, даже самими женеvцами назывался “Petite Russie” – «маленькая Россия».

«В Женеве большевистский центр гнезвился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, Каружки и набережной реки Арвы, – вспоминает Крупская. – Тут помещались редакция “Вперед”, экспедиция, большевистская столовая Лепешинских».

Этот дом, построенный в начале века (rue de Carouge, 91–93), действительно был своеобразной штаб-квартирой эсдеков. В доме под номером 91 (а по-русски более подходит понятие подъезда, поскольку нумерация идет по подъездам, а не по зданиям) располагаются библиотека и архив РСДРП. Здесь прописан с лета 1904-го по осень 1905 года Ленин – на первом этаже в двух комнатах, как помечено в домовой книге: «Владимир Ульянов, литератор». Литератор платит 600 франков в год, но сам здесь не живет, хотя и бывает почти ежедневно. Квартира находится в распоряжении женеvских большевиков, а вождь большевиков поселился на улице Давид Дюфур (rue David Dufour), № 3.

О жизни этого примечательного дома пишет в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич, один из первых, вместе со своей женой Величкиной, жильцов тогдашней новостройки:

«Наконец наступило время, когда мы могли подумать об открытии библиотеки. Мы отправили Веру Михайловну Величкину, нашего постоянного ходатая по квартирным делам, так как она была хорошо известна женеvским гражданам и ее поручительства при снятии квартиры было вполне достаточно. Она съездила к хозяину огромного дома, в котором мы все жили (дом углом выходил на rue de la Carouge и rue de la Colline) и в котором помещались и столовая Лепешинских, и наша экспедиция, и кооперативная типография, где первое время печатались наши большевистские издания и наша газета “Вперед”.

В этом доме жили мы – Бонч-Бруевич, Лепешинские, Ильины, Мандельштамы, Абрамовы и целый ряд других товарищей, причем все эти квартиры были заселены по рекомендации Веры Михайловны. Первыми жителями в этом доме, когда он не был еще до конца отстроен, въехали мы с Верой Михайловной, а за нами потянулись и другие.

Управляющий этим домом немедленно согласился отдать нам большое помещение в первом этаже рядом со столовой Лепешинских под нашу библиотеку и архив, и мы тотчас же в кредит занялись оборудованием незатейливой, но вполне достаточной обстановки.

...Наконец пришло время открытия нашей библиотеки и архива, которые по-французски назывались “Bibliothèque Centrale Russe” («Центральная русская библиотека»). Когда узнали в колонии, что такого-то числа открывается библиотека, к нам сразу в этот день пришло так много народу, что мы могли еле-еле всех принять и разместить в большом читальном зале, где стояло шесть больших простых деревянных белых столов, за каждым из них хорошо усаживалось двадцать пять человек. По стенам висели на деревянных держателях многочисленные газеты на русском и на иностранных языках. Среди русских изданий были нелегальные газеты и журналы, а также довольно большое количество газет, получаемых из России. Толстые журналы, которые мы к этому времени также стали получать, лежали на особом столе для всеобщего чтения... По нашим правилам в читальню мог зайти каждый, но все-таки требовалась хотя бы небольшая рекомендация. В библиотеку мог записаться тот, кто имел возможность представить более солидные рекомендации, которые, конечно, в такой обширной колонии, как женевская, всегда каждому порядочному человеку легко было достать».

Здесь же, на первом этаже в доме № 91 по «Каружке», основывается архив партии, которому предстоит вобрать в себя столько тайн и судеб двадцатого века. А начинается всё просто. «Я решил начать организацию нашего большевистского партийного социал-демократического музея и архива с той же широкой установкой по сбору материалов, – пишет Бонч-Бруевич. – Собрал из своей библиотеки всё то, что я мог отделить от нее, перенес эти книги в мою же квартиру в угол одной комнаты, сложил их и сказал присутствовавшим здесь товарищам: “Вот здесь, отсюда давайте строить нашу центральную Библиотеку и Архив, которые должны, как мне кажется, быть при Центральном Комитете нашей партии”». Так начинается Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. После отъезда Бонч-Бруевича в Россию до февраля 1917 года архивом заведует большевик Вячеслав Карпинский.

Библиотеку и архив во второй половине 1905 года посещают в день от сорока до ста человек. После массового отъезда в Россию в связи с революционными событиями библиотека начинает глхнуть и 4 февраля 1906 года прекращает свое существование. Часть книг пакуется в 132 ящика и отправляется из Женевы в Стокгольм, остальная, наиболее ценная, часть отдается на хранение Георгию Куклину, библиофилу и издателю, соединившему свою библиотеку с этими материалами и открывшему публичную библиотеку, перешедшую в 1907 году по его завещанию большевикам.

В соседнем подъезде, под номером 93, располагается в 1904–1905 годах «издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» – кооперативная типография, где набирается газета «Вперед», продолжившая ленинскую «Искру». На Третьем съезде она будет заменена на «Пролетарий» – издававшийся здесь же, на улице Каруж. О характере издательской деятельности, посвященной в основном борьбе с товарищами по партии, Ленин пишет в письме Луначарскому: «Невеселая работа, вонючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять “подлость и яд” незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Здесь же на первом этаже располагается и столовая Лепешинских – партийный клуб большевиков. Лепешинские познакомились с Лениным и Крупской еще в Сибири. Сын священника, Пантелеймон Лепешинский в ссылке играл с Лениным в шахматы по пере-

писке. В 1903 году Лепешинский бежит из Сибири за границу и с декабря устраивается в Женеве. Вскоре к нему легально с заграничным паспортом в качестве студентки медицинского факультета Лозаннского университета приезжает его жена Ольга Борисовна. В своих воспоминаниях она пишет: «У нас возникла мысль открыть столовую, используя ее не только для прокормления нашей семьи, но и как источник пополнения партийной кассы, а также как партийный большевистский клуб».

«Там играли в шахматы, рассматривали очень хорошо нарисованные остроумные карикатуры тов. Лепешинского, спорили, делились новостями, учились ценить и любить друг друга», – вспоминает Луначарский. В столовой Лепешинских вечерами музицирует Фотиева, будущая секретарша Ленина. В ее мемуарах читаем: «В ранней юности, увлекаясь сочинениями Писарева, я вычитала у него такую фразу: “Общество, которое занимается искусством, имея хотя бы одного неграмотного, похоже на дикаря, который ходит голым и носит золотые браслеты на руках”. Это произвело на меня неизгладимое впечатление, и, перейдя с отличием на старший курс консерватории, где я тогда училась, я вышла из нее и поступила на Бестужевские курсы».

Фотиевой аккомпанирует на скрипке Петр Красиков, который нелегально пересек границу Российской империи, неся с собой скрипку в футляре. Любитель музыки станет в Советской России сначала заместителем наркома юстиции, с 1924 года – прокурором Верховного суда, а с 1933-го – заместителем председателя Верховного суда СССР.

Вообще редкий из будущих советских функционеров не побывал в женевской эмиграции. В разное время здесь живут Александр Богданов, Лев Каменев, Симон Камо, Александра Коллонтай, Леонид Красин, Глеб Кржижановский, Михаил Ольминский, Алексей Рыков, Григорий Сокольников, Лев Троцкий и многие другие.

Сюда, в столовую Лепешинских, собираются взволнованные эмигранты, узнав из газет о петербургском расстреле 9 января. Вот так изображает эту сцену Солженицын в «Красном колесе»: «Шли январским вечером с Надей по улице – навстречу Луначарские, радостные, сияющие: “Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!” Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! – помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбужденные, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились... Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)».

Для своих тайных конспиративных совещаний, однако, большевики, опасаясь меньшевистских лазутчиков, используют каждый раз новые рестораны, куда обычно не ходят русские эмигранты. Так, в своих мемуарах Бонч-Бруевич вспоминает: «Я нашел налево от моста небольшую, весьма простую гостиницу, нечто вроде постоянного двора, которая имела свой ресторан, а при нем отдельную комнату, окна которой выходили во фруктовый сад. Комната вполне соответствовала намеченным конспиративным целям и могла вместить человек тридцать, т. е. вполне была достаточна для нашего собрания. Я условился с хозяином, что соберутся русские для обсуждения устройства ферейна, цель которого – помогать друг другу в прогулках по горам Швейцарии и выработке маршрутов прогулок. Хозяин гостиницы был очень доволен, узнав, что мы все альпинисты».

Вот еще несколько русских адресов в Женеве, связанных с большевиками.

На улице Кулувренье (rue de la Coulouvrenie`re, 27) находилась типография, в которой печаталась «Искра» – сперва большевистская, потом, после выхода Ленина из редакции, – меньшевистская.

В доме № 17 по улице Дюпон (rue des Deux-Ponts) селится Ленин в январе 1908, приехав из России, и живет здесь до середины апреля. Отсюда он переезжает на улицу Марэшэ (rue des Maraîchers, 61). Здесь он пишет свой философский труд, направленный против эмпи-

риокритицизма, и отсюда в декабре 1908 года уезжает в Париж. В этом же доме, кстати, но этажом выше селится его сестра Мария, когда приезжает в Женеву учиться в университете.

Луначарский во время своей женеvской эмиграции живет на бульваре Жоржа Фавона (boulevard Georges Favon) в доме № 33.



Персональная карта В.А. Карпинского в картотеке женеvской полиции

Русская библиотека им Г.А. Куклина располагалась на улице Кандоль (rue de Candolle, 15). Георгий Куклин имел свою типографию и склад изданий в Женеве. Всё это молодой человек – он умер в Женеве в возрасте тридцати лет – передал большевикам, вступив незадолго перед смертью в их партию и завещав им свой архив и библиотеку. Библиотекой этой, получившей имя основателя, заведовал после его смерти большевик Вячеслав Карпинский. С этого адреса библиотека переехала на бульвар Ключ (boulevard de la Cluse, 57). Это одновременно адрес квартиры Карпинского и его подруги Сарры Равич. Здесь же находится библиотека имени Г.А. Куклина и архив РСДРП в 1907–1909 годах. С мая 1909-го по февраль 1912 года русская библиотека существует по адресу: улица Дизеран, 1 (rue Dizerens). Пополнялась библиотека не только за счет партийных средств, но и за счет пожертвований. Алексей Михайлович Ремизов пишет, например, Блоку 11 июля 1911 года: «Александр Александрович, пришлите, пожалуйста, ваши вышедшие книги нового издания и распорядитесь, чтобы выслали и остальные сюда в русскую библиотеку: Geneve, 1 rue Dizerens, Bibliothe` que russe».

После революции библиотека и архив Куклина были перевезены в Россию и находились в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Два слова о Сарре Равич. В партии молодая девушка с 1903 года, в Женеве с 1907-го. Здесь она записана студенткой философского факультета. Будучи подругой Карпинского, Равич вместе с ним ведет русскую библиотеку. Известность она приобретает, когда ее арестовывают в Мюнхене 18 января 1908 года при размене денег, награбленных у русской казны в Тифлисе группой Камо. В своих воспоминаниях Крупская рассказывает об этих деньгах так: «Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров, взятых при экспроприации пятисоток... Деньги нужны были до зарезу. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов».

У арестованной при попытке разменять в Баварском банке деньги Равич проводят домашний обыск в Женеве в квартире по месту проживания на бульваре Ключ. Заодно арестовывают Карпинского и Николая Семашко, которому Равич пыталась передать из тюрьмы письмо.

Семашко, проживавший на улице Бланш (rue Blanche, 4), нелегально приехал в Швейцарию в 1907 году после освобождения из тюрьмы, куда попал за участие в вооруженном

восстании в Нижнем Новгороде. В Женеве орловский дворянин-большевик селится неподалеку от Плеханова, который приходился ему родным дядей по матери. По делу о кредитах Семашко попадает в женевскую тюрьму Сент-Антуан (Saint-Antoine). Русское правительство требует выдачи грабителей и лиц, причастных к экспроприации. Арестованные большевики решительно отрицают какую-либо причастность к похищению банкнот. Все социалистические партии выступают против выдачи дружным фронтом. По инициативе Ленина большевики нанимают, не жалея средств, одного из лучших адвокатов Швейцарии того времени – А. Лакхенала (A. Lachenal). Усилия эмигрантов увенчались успехом – Швейцария отвечает России отказом и освобождает арестованных. Чемоданы пятисотрублевков будут сожжены в Париже в 1910 году. Интересно замечание Семашко в его воспоминаниях: «Характерная подробность: когда моя жена обратилась к Плеханову, который был тогда влиятелен в Швейцарии, и просила его помочь, он сухо ответил: “Ну что ж! С кем поведется, от того и наберется”».

Племянник-ослушник сделается в Советской России наркомом здравоохранения, и его именем будут названы тысячи больниц и улиц.

Не столь прямым окажется жизненный путь Равич. Вернувшись в Россию в ленинской группе, она войдет в Петроградский совет большевиков и позднее, подобно большинству своих товарищей по партии, будет арестована – в 1938 году. В лагерях Равич, к счастью, выживет. Освободившись, она возьмется за перо и напишет роман о декабристах.

Назовем и главный «меньшевистский» адрес Женевы. Еще одна русская улица располагается по другую сторону Арвы, в районе Каруж, бывшем предместье Женевы. Речь идет об улице Каролин (rue Caroline). Здесь в доме № 27 жил Юлий Мартов, некогда друг, а позже враг и антипод Ленина, вождь несостоявшейся русской социал-демократии западного типа. О нем Троцкий скажет: «Один из даровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути». Со вторым «пломбированным» поездом в мае 1917 года Мартов вернется через Германию в Россию. Осудив октябрьский переворот и уйдя со Второго съезда Советов, он будет считать, что долг социалистов – «оставаться с пролетариатом, даже если он ошибается». Будет осуждать красный террор, но выступать против вооруженной борьбы с большевиками, станет участвовать в советских органах – в частности, в годы «военного коммунизма» будет членом ВЦИКа и депутатом Моссовета. Тяжело больного, Ленин отпустит своего прежнего друга за границу, несмотря на сопротивление политбюро. За границей Мартов до самой смерти в 1923 году будет критиковать большевистский режим и одновременно призывать к защите русской революции от международного империализма.

На улице Каролин у брата останавливается Сергей Цедербаум, еще одна яркая и трагическая фигура русской революции. Узнав царские тюрьмы и ссылки до революции, сначала большевик, потом меньшевик, он пройдет по всем кругам ГУЛАГа в Советской России и в феврале 1939 года будет приговорен к расстрелу.

В женевской эмиграции живет еще один брат из этой революционной семьи – Владимир Цедербаум-Левицкий. Этот человек тоже посвятит всю свою жизнь «освобождению рабочего класса» и тоже закончит свою жизнь трагически – умрет в 1938 году в тюрьме во время следствия.

В Женеве живут практически все лидеры меньшевиков. Вот имена некоторых из них. Федор Дан, один из основателей социал-демократической партии, в качестве исполняющего обязанности председателя ЦИК откроет историческое заседание Второго Всероссийского съезда Советов 25 октября 1917 года, чтобы покинуть его вместе с другими в знак протеста против захвата власти большевиками. Его арестуют и в 1922 году вышлют за границу. Александр Потресов, дворянин, который уже в 1892 году в Швейцарии встречался с Плехановым, Аксельродом и Засулич, а в ссылке вместе с Лениным и Мартовым составил план

общерусской марксистской партии и газеты, также подвергнется после революции аресту ЧК, причем в качестве заложников будут арестованы бывшими товарищами по партии его жена и дочь. Спасет Потресова от сталинских лагерей, как и Дана, то, что в 1922 году Ленин отнесет его к числу «господ», которых следует «выслать за границу безжалостно».

В России умрут своей смертью лишь некоторые из видных женеvских меньшевиков, среди них, например, вступивший после революции в большевистскую партию известный публицист Александр Мартынов (Пиккер), который доживет, читая лекции по экономике, до 1935 года, или Юрий Ларин (Лурье), которому «посчастливится» умереть в 1932 году и даже быть захороненным на Красной площади. Его дочь Анна выйдет замуж за Бухарина, и ей уже придется «отсидивать» и за отца, и за мужа.

Приведем для полноты адрес еще одной социал-демократической российской партии. Заграничный комитет Бунда располагался на улице Каруж, 81.

Обратимся теперь к партии, пользовавшейся наибольшей популярностью среди русской студенческой колонии Женевы. В этом городе издавалась главная газета социалистов-революционеров «Революционная Россия» и жили в эмиграции практически все вожди эсеров. Печаталась газета в типографии А. Пфедфера (A. Pfeffer) на Пленпале (Plainpalais). Заведовал типографией И.В. Бобырь-Бохановский, дворянин, ветеран революции, еще ходивший «в народ» и бежавший некогда из киевской тюрьмы в Швейцарию.

Практически штабом партии являлась квартира еще одного старого революционера, Леонида Шишко, жившего на улице Розрэ (rue de la Roseraie, 27). Для революционеров начала XX века, по словам Чернова, Шишко был «живым олицетворением начала революционно-социалистического движения в России». Этот дворянин и офицер порвал со своим прошлым, «чтобы нести новое евангелие социализма в рабочие кварталы». Судьба его типична для революционера того времени: он судился по «процессу 193-х», потом тюрьма, каторга, ссылка, побег. В Женеве он – один из теоретиков партии и соредатор «Революционной России». Описание обстановки, царившей на его квартире, находим в воспоминаниях Фритца Брупбахера, швейцарского социалиста, женатого, кстати, на эсерке Лидии Кочетковой: «Дом Шишко был генеральной штаб-квартирой так называемых С.Р., партии социалистов-революционеров...Целый день там работали молодые люди над шифровкой и расшифровкой писем и сообщений. Почти непрерывно шли заседания и совещания». Отметим, что Брупбахер обращает внимание на ограниченность интересов русских революционеров, которых занимали революционные события исключительно в России: «На квартире Шишко было множество интереснейших людей, которые, разумеется, не обращали никакого внимания на меня, как и на любого другого европейца; ничем, кроме России, они не интересовались; они были так настроены, что можно было предположить, что для них не существовало вообще никаких стран, кроме России. Меня поразило абсолютное отсутствие интернационализма».



М.Р. Гоц

Расскажем коротко о нескольких людях, определявших лицо женевской эсеровской колонии. Начнем с Михаила Гоца, непререкаемого авторитета и вождя партии. Еще гимназистом он участвует в революционном кружке, собиравшемся, кстати, на квартире Зубатова, будущего начальника московской охраны. Последователь народовольцев, Гоц проходит все каторги и ссылки, а с созданием партии эсеров переезжает в Женеву, где вместе с Черновым и Шишко составляет редакцию «Революционной России», центрального органа партии. Он рвется самолично участвовать в терроре, но не позволяет болезнь – вследствие тяжелого заболевания нервной системы, опухоли спинного мозга, он почти парализован. Чернов пишет в воспоминаниях: «Я не выдержу этой жизни, – говорил он, умоляя, чтобы его пустили в Россию. – Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте и заставляете умереть здесь, на мирной койке; это будет не заслуженным мной несчастьем...» А вот как вспоминает о Гоце Савинков: «Он, тяжело больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации». И дальше знаменитый террорист замечает: «Азеф был практическим руководителем террора, Гоц – идейным».

«Душа русского террора» оказывается прикованным к креслу на колесиках в возрасте тридцати девяти лет. «У Гоца стали отниматься ноги, – вспоминает Чернов. – От боли он уже не мог спать без морфия. Но он духом не упал. Вокруг кресла, к которому он был прикован, собирались друзья и товарищи, трактовались “проклятые вопросы” начавшейся революции». До самой смерти Михаил Гоц остается вождем партии, но увидеть плоды своей революционной деятельности ему не суждено. В 1906 году он умирает после операции в Берлине, но похоронен будет в Женеве.

Упомянем здесь и брата Михаила Гоца – Абрама Рафаиловича. Несмотря на большую разницу в возрасте – он был младше на шестнадцать лет, – Абрам тоже видная фигура среди эсеров. Террорист, но террорист-неудачник, он в качестве члена БО участвует в подготовке нескольких проваленных Азефом покушений. Не оставляет он террора и после захвата власти большевиками, в частности, участвует в организации эсеровских покушений на Ленина, также неудачных. Будучи многократно арестован и даже приговорен в 1922 году Верховным

трибуналом к расстрелу, замененному заключением, он доживет до конца тридцатых годов и будет служить в Симбирском губплане. В 1937 году снова арест, на этот раз последний – Абрам Гоц погибнет в лагере Нижний Ингаш в Красноярском крае.

Виктор Чернов, главный теоретик и идеолог партии в течение всей ее истории, также неоднократно приезжает в Женеву. Автор программы партии и ведущий ее оратор, приняв в 1917 году пост министра земледелия во Временном правительстве, получит возможность на деле применить свои теории к российскому земледельцу, но предотвратить хаос не сможет. Этот человек станет первым и последним председателем Учредительного собрания России, большинство депутатов которого будут представлять его партию. В своей речи он заявит, что сам факт открытия Учредительного собрания провозглашает конец гражданской войны между народами, но в зале уже будет ждать матрос, который скажет знаменитые слова: «Караул устал!» Во время Гражданской войны Чернов будет призывать массы не столько к борьбе с большевиками, сколько с Колчаком и Деникиным. Председатель разогнанного Народного собрания России проживет в эмиграции долгую жизнь и умрет в 1952 году в Нью-Йорке.

Трагически сложится судьба другого известного эсера, жившего в эмиграции в Женеве, писателя-террориста Бориса Савинкова. В юности марксист-экономист и противник террора, он становится в вологодской ссылке убежденным приверженцем активных методов борьбы с царизмом. Из ссылки – нелегально в Швейцарию. В Женеве он встречается в 1903 году с Михаилом Гоцем. «Увидев меня, – вспоминает Савинков, – он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да».

Савинков становится заместителем Азефа по руководству БО и, как он думает, его другом.

Вера Фигнер, хорошо разбиравшаяся на старости лет в людях, так характеризует литературно одаренного бомбиста: «Он сразу чрезвычайно заинтересовал меня и в несколько дней совершенно очаровал. Из всех людей, которых я когда-либо встречала, он был самым блестящим».

В Женеве Савинков представляет партии своего друга детства Ивана Каляева, с которым отбывал вместе ссылку. На весь мир гремят взрывы эсеровских бомб – жертвой подготовленных Савинковым покушений падают министр внутренних дел Плеве, затем великий князь Сергей Александрович.



Издание партии социалистов-революционеров под редакцией В. Чернова

В Женеве идет съезд заграничной организации социалистов-революционеров, когда в разгар прений приносят телеграмму из России с сообщением, что тело старика-министра разорвано в клочья. «На несколько минут, – вспоминает другой эсер-боевик Степан Слетов, – воцарился какой-то бедлам. Несколько мужчин и женщин ударились в истерику. Большинство обнималось. Кричали здравицы». После убийства Плеве Егором Созоновым, несостоявшимся бернским студентом, на берегах Роны собираются участники покушения – Савинков, Азеф, Дора Бриллиант и другие. «В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное возбуждение, – напишет Савинков. – Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, явились люди с предложением своих услуг». Азефу как главному автору удачи устраивается торжественная встреча, и Екатерина Брешко-Брешковская в качестве «бабушки русской революции» приветствует агента охранки, получавшего по 500 рублей ежемесячно, по старому русскому обычаю – низким поклоном до земли.



Б.В. Савинков

В Женеве Савинков живет вместе со своей женой Верой Глебовной Успенской, дочерью знаменитого в свое время писателя-народника. После разоблачения Азефа Савинков займется литературной деятельностью, а в 1914-м пойдет добровольцем во французскую армию. Он вернется в Россию в апреле 17-го, займет в составе Временного правительства пост помощника военного министра, а после Октября посвятит остаток жизни отчаянной борьбе с большевиками, которая кончится в лестничном пролете Лубянки. Квартира упомянутой выше Брешко-Брешковской на улице Жак-Дальфен (rue Jaques-Dalphin, 9) была еще одним партийным центром эсеров в Женеве. Именно этой удивительной и одновременно в чем-то типичной для своего времени женщине партия во многом была обязана своей популярностью. Ко времени первой русской революции ей уже за шестьдесят. Еще в 1873 году, оставив семью и детей, она идет пропагандировать социализм среди крестьян, что заканчивается арестом и каторгой. После освобождения Брешко-Брешковская посвящает себя революционной пропаганде среди молодежи. Именно под ее влиянием к эсерам приходят Савинков, Каляев, Созонов и многие другие.



Е.К. Брешко-Брешковская

В Швейцарии «бабушка» постоянно курсирует между Женевой, Берном и Цюрихом, агитируя обучавшихся там русских студентов. Чернов в книге воспоминаний «Перед бурей» так описывает деятельность Брешко-Брешковской во время начинавшейся революции 1905 года: «Бабушка рвется в Россию, бунтует против медлительности революционных организаций. Бабушка на крайне левом крыле. Она вдохновляет группу аграрников, будущих максималистов, находящихся, что партийный террор чересчур “аристократичен” и поверхностно политичен; они хотят спустить его в низы и разлить широким половодьем, дополнив его аграрным и фабричным террором. Но Центральный комитет не соглашается утвердить переход всего боевого дела в руки слишком импровизированных “ревтроек”, а на фабричный и аграрный террор накладывает категорический запрет. Бабушка скрепя сердце подчиняется. Впрочем, вера во всякие организации у нее падает, и она проповедует личную вооруженную инициативу: “Иди и дерзай, не жди никакой указки, пожертвуй собой и уничтожь врага!” И каждую свою статью неизменно заканчивает одним и тем же двойным призывом: “В народ! К оружию!”».

После Октября старая, но не сломленная женщина с такой же страстью зовет к борьбе с большевиками. В эмиграции перед смертью, призывая всю жизнь к террору, она обратится к религии и в 90 лет заявит, что учение Христа служит для нее «опорой и утешением» и стоит «несравненно выше социалистического».

В Женеве в те годы живут или бывают другие видные деятели эсеровской эмиграции: Марк Натансон, Илья Фондаминский, Борис Камков, Николай Авксентьев, Вадим Руднев, Владимир Зензинов и другие.

Именно Женеву выбирает для своей эмиграции первый герой русской революции, вдохновитель Кровавого воскресенья Георгий Гапон. В своем очерке «Герой на час» Лев Дейч так охарактеризовал влияние Гапона в то время: «В короткое время он и среди своих соотечественников, живших за границей, приобрел такую славу, какой не пользовался в прошлом решительно ни один русский революционер».

Недолго побыв в социал-демократах, бывший священник объявляет себя эсером и живет сперва на квартире Шишко, а затем поселяется на одной из вилл в предместье Ланей. Гапон проявляет себя в Швейцарии ярким сторонником террора. Савинков, например, рассказывает в своих воспоминаниях, как, увидев его в Женеве, Гапон вдруг поцеловал руко-

водителя БО и поздравил. «Я удивился, – пишет Савинков. – С чем? – С великим князем Сергеем».

В Женеву приезжает и его друг Петр Рутенберг, инженер Путиловского завода, сперва социал-демократ, потом эсер, готовивший боевые дружины. Рутенберг спас Гапона 9 января, обрезав в подворотне длинные волосы попою своим перочинным ножиком с ножницами.

Гапон носится с идеей организации конференции, которая объединила бы все революционные партии, и намеревается сам встать во главе этого объединения. «Гапон много говорил о необходимости основать “боевой комитет”, – вспоминает Савинков, – особое учреждение, которое бы ведало центральным и массовым террором. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве...» К грядущим боям Гапон готовится не в переносном смысле, а в самом прямом: усердно обучается в тире стрельбе из разного оружия, а в женевском манеже – верховой езде. Внешний вид женевского Гапона резко отличается от распространенной фотографии в рясе с крестом. Вот как описывает его Дейч: «На вид лет тридцати, с черными закрученными усами, элегантно одетый, с хлыстиком в руке, Гапон совершенно не напоминал недавнего русского священника; он скорее походил на фатоватого представителя горных рас».

В партии эсеров Гапон тоже не задерживается и, оставив социалистов-революционеров, начинает действовать самостоятельно – принимает участие в грандиозной аванюре с поставкой оружия в Россию на пароходе «Джон Графтон». На корабль грузится огромный арсенал, которого хватило бы на вооружение целой армии: 16 тысяч винтовок, три тысячи револьверов, несколько миллионов патронов, большое количество динамита и пироксилина. Причем закупки производятся в конечном счете на японские деньги. Инициатором операции является военный атташе Японии в России полковник М. Акаси. Летом 1905 года закупленное оружие, между прочим также винтовки швейцарского производства, отправляется в Россию на «Джоне Графтоне», который в начале сентября терпит крушение в Балтийском море.

С объявлением политической амнистии в октябре 1905 года почти вся политическая эмиграция отправляется в Россию. Туда же следует и Гапон, но не столько бунтует крестьян, сколько общается с представителями власти, от которых получает большие суммы. На эти деньги после поражения революции он играет на рулетке в Монако. «Герой на час» торопится насладиться шумными кутежами на Ривьере, будто чувствует, что жить ему остается считанные недели. Повесит Гапона на финской даче некогда спасший его Рутенберг. И тем самым ножом, которым в Кровавое воскресенье обрезал волосы попою, теперь перережет веревку.

В Женеву собираются, кажется, все герои первой русской революции. Так, сюда приезжает летом 1905 года Афанасий Матюшенко, матрос-командир восставшего «Потемкина», приведенного им в румынскую Констанцу. «Вскоре после моего приезда в Женеву, – вспоминает Савинков, – Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с обыкновенным скуластым лицом и с простонародной речью. Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на “Потемкине”, застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черное море». В эмигрантской Женеве, однако, революционный матрос чувствует себя неуютно. Уехав обратно в Румынию к своим товарищам, он пишет Савинкову: «Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, черт бы их побрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один. Все как будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры

и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на “Потемкине”, а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны».

Матюшенко, примкнув сперва к эсерам, скоро отходит от них и объявляет себя анархистом. Он возвращается в Россию. В Николаеве его арестовывают с бомбами, судят военным судом и казнят.

Но, пожалуй, самая колоритная фигура среди женеvских эсеров – это князь Дмитрий Александрович Хилков. Аристократ, получивший блестящее образование, командир казачьего полка, крупный землевладелец, один из тех, кто, по сути, должен был служить опорой русского порядка, Хилков в сорок лет настолько проникается толстовским учением, что раздает все свои земли крестьянам и сам с семьей остается без каких-либо средств к существованию. Обвинив его в том, что он воспитывает детей в «духе, противном православной церкви», мать его жены требует отобрать детей и передать их ей на воспитание. Князь отказывается расстаться с детьми, и Святейший синод совместно с Департаментом полиции лишают Хилкова родительских прав. Вскоре Сенатом мятежный князь осужден к изгнанию из пределов России на десять лет. С 1898 года он в эмиграции. Хилков селится в Женеве и становится одним из ревностных поборников Толстого в бирюковской колонии в Онэ (Onex), о которой речь еще впереди. Однако очень скоро горячий темперамент казачьего полковника заставляет его порвать с «непротивленцами» и сблизиться с революционными партиями, особенно с эсерами. Забавно, что князь часто председательствует на социалистических собраниях и митингах в кафе «Хандверк». Хилков избирается членом заграничного комитета партии эсеров, становится убежденным террористом и пишет пропагандистские книги, в частности брошюру «Террор и массовая борьба». Азеф, пытавшийся сблизиться с революционным князем, сообщает в Департамент полиции о Хилкове: «... Последний, обладая аристократическим воспитанием, не так легко поддается сближению. Вежлив, и только».

В Женеве Хилков, будучи сам отличным стрелком, специализируется на обучении террористов стрельбе и вообще «боевому делу». Так, среди его лучших учениц – народная учительница Зинаида Коноплянникова, еще одна эсеровская легенда. После прохождения хилковского курса в Женеве она заведует в Петербурге подпольной лабораторией взрывчатых веществ и устраивает по всей России динамитные мастерские. Прославится Коноплянникова тем, что застрелит четверьмя выстрелами из браунинга полковника Мина, усмирителя московского Декабрьского восстания, сидевшего на станции на скамейке в ожидании поезда. При задержании она скажет: «Тише, не тискайте, у меня бомба». В дамской сумочке у нее обнаружат четырехкилограммовый заряд. Двадцатисемилетнюю революционерку приговорят к казни через повешение. Это вторая русская женщина-революционерка после Софьи Перовской, окончившая жизнь на эшафоте. Однако вернемся к рассказу о князе-эсере.

С первой революцией Хилков возвращается в Россию, чтобы готовить на месте партизанскую войну против правительства, – разрабатывает план вооруженного крестьянского восстания в Приднепровье, во главе которого собирается встать самолично. Им уже организована доставка оружия из-за границы, но Чернов выступает против его идеи, и план восстания в конце концов не утверждается руководством партии. Князь обижается на революционеров, и через несколько лет, с началом мировой войны, с ним происходит еще одно превращение. Хилков пишет письмо Николаю II, который знал его лично, прося, чтобы ему дали возможность принять участие в защите России. Просьбу исполняют – ему дают под командование тот самый казачий полк, с которым он некогда расстался, и Хилков отправляется на фронт. Бывший товарищ князя по партии, Зензинов, так описывает гибель этого человека: «Конец его был так же необыкновенен, как вся его жизнь... При первом же случае с неприятелем скомандовал – “В атаку!” и во главе казачьей лавы врезался в немецкие ряды. Очевидцы рассказывали, что он мчался впереди полка, даже не вынимая шашки из ножен: он, очевидно, хотел умереть. Больше его не видали: он погиб смертью героя».

Женева служит базой для террористов и в самом прямом смысле – здесь готовят бомбы и испытывают их в окрестностях. Гремят взрывы и в самой Женеве. Так, в декабре 1905-го на одной из квартир в Женеве происходит несчастный случай во время экспериментов с составлением взрывчатых смесей для бомб – каждый боевик должен был пройти школу подделывания документов и приготовления зарядов. Владимир Зензинов вспоминает в «Пережитом»: «В Женеве в то время у партии было несколько динамитных школ... Для школы снимали отдельный домик где-нибудь на окраине города, избегая домов с большим количеством квартир и центральных мест, – в лаборатории всегда могло произойти несчастье, а партия не считала себя вправе подвергать риску посторонних. Одним из наиболее известных в партии химиков был тогда Борис Григорьевич Билит. Через несколько месяцев после описываемого мною времени как раз у него и произошел несчастный случай (несмотря на весь его опыт!) – взрыв во время работ, которым ему оторвало кисть левой руки. На взрыв явилась полиция – и Билит получил полтора года тюремного заключения: он объяснил, что производил у себя в квартире химические опыты».

Упомянутый Борис Билит – ведущий «химик» эсеров, выпускник Женевского университета, заведовал летом 1905 года и перевозкой оружия на «Джоне Графтоне». Вскоре он отойдет от революционной работы, будет преподавать химию во французских школах, а в 1932 году вернется в Россию. Судьба его неизвестна, но нетрудно предположить, что ожидало эсера на родине.

Секретарем Заграничного комитета партии был еще один химик – бывший народоволец и будущий советский академик Алексей Николаевич Бах. Еще в 1894 году он устраивает в Женеве химическую лабораторию, в которой работает в течение двадцати трех лет, проводя научные опыты и снабжая одновременно террористов боевыми материалами.

О бомбометании в окрестностях Женевы Зензинов вспоминает: «Самым интересным моментом было испытание. Для этого мы брали с собой приготовленные нами снаряды, запальные трубки и с дорожными мешками за спиной отправлялись с нашим “профессором”... за несколько километров от Женевы в горы – по большей части на гору Салев. И там производили испытания».

И конечно же, Женева – это и город Азефа. Здесь самый известный провокатор русской истории бывает неоднократно. Сеть провокации, которой Петр Иванович Рачковский, заведующий заграничной агентурой Департамента полиции в Париже и Женеве, буквально окутал женевских эмигрантов, позволяла охранке практически контролировать партию. Неудивительно, что М.М. Чернавский, член БО, соратник Азефа и Савинкова, в своих мемуарах под названием «В боевой организации» напишет: «Я очень долго колебался, раздумывая, не следует ли эту часть воспоминаний озаглавить иначе – “В паутине провокации”». Такой заголовок вполне подходил бы к их содержанию, ибо на всем протяжении моей работы в БО я, как и все мои товарищи, был опутан провокацией и барахтался в ней, как муха в паутине».

Шпиономания определяла весь характер эмигрантской жизни и касалась всех революционеров вне партийной принадлежности. Бонч-Бруевич, например, вспоминает: «Все прекрасно знали, что вот здесь, среди них, в этих же студенческих столовых, в библиотеке, на всех собраниях и рефератах, а может быть, даже и в маленьких кружках и организациях, обязательно должны быть представители органов шпионажа, деятели русского самодержавия, охранного отделения и тайной полиции, которые всеми мерами старались всё выведать, для того чтобы обезопасить царское правительство от приезда в Россию террористов, пропагандистов и агитаторов. И сознание, что кто-то вот среди этой толпы, которая валом валит на реферат того или другого популярного лектора, идет с целями предательства, что здесь, среди студенчества, обязательно есть эти элементы, отравляло жизнь молодежи и приучало ее к конспирации». То, что конспирация помогала мало, замечает Зензинов в «Пережитом»: «Когда, например, в Женеву приезжал Гершуни, он по целым дням не выходил из

дому, чтобы не попадаться на глаза русским шпионам, и на улицу выходил лишь ночью – предосторожность, между прочим, совершенно излишняя, так как все подробности о пребывании Гершуни в Женеве Департамент полиции узнавал из донесений Азефа, вместе с которым заседал Гершуни».

Интересно, что изобилие агентов отечественных спецслужб отметила еще народоволка Любатович в своих воспоминаниях «Далекое и недавнее»: «Я жила в Женеве, этой клоаке шпионов».

В доме № 9 по улице Каролин находится в начале XX века центр русской студенческой колонии, квартиры сдаются здесь почти исключительно студентам из России. В этом доме живут и останавливаются во время своих приездов в Женеву многие анархисты. О русском анархизме, в отличие от других революционных течений, написано было по известным причинам очень мало, поэтому расскажем о некоторых жильцах и посетителях этого дома в Каруже поподробнее.



Издание русских коммунистов-анархистов в Женеве

Первая русская анархическая группа в Женеве возникает в 1900 году под руководством студента-медика Женевского университета Менделя Дайнова, сына полтавского торговца. В 1903 году студент-химик того же университета Георгий Гогелиа организует анархическую группу «Хлеб и воля» и начинает издавать одноименную газету. Эпиграфом для издания молодые люди берут тезис Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время создающий дух!» Газета пропагандирует идеи Кропоткина. С ней, по русской привычке разьединяться, прежде чем объединяться, борется другая русская анархическая газета, основанная в 1905 году в Женеве Иудой Гроссманом, «Черное знамя», причем девиз всё тот же, бакунинский, но в слегка модифицированной формулировке: «Дух разрушительный есть и дух создающий». В газете даются рекомендации анархистам-читателям по борьбе с провокаторами, а также подробные наставления по изготовлению бомб и взрывчатых веществ в домашних условиях. С 1906 года в Женеве печатается «Буревестник», самое массовое анар-

хистское издание. Газета выходит тиражом в 5000 экземпляров и является органом одноименной группы анархистов-коммунистов того же Менделя Дайнова. Эпиграфом на сей раз берутся слова Горького из известной «Песни о Буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря!» В этой группе сотрудничают Александр Гроссман, брат Иуды, Николай Музиль, Новомирский (Янкель Кирилловский) и другие публицисты и практики анархизма. Существует газета за счет экспроприаций, проводимых боевыми группами в России. «Буревестник» выступает за централизованный «мотивный» террор против широко распространившегося в России «безмотивного» террора. Газета призывает к проведению организованных и массовых экспроприаций и к отказу от «экссов» в личных целях. В августе 1908-го происходит объединение «Буревестника» с «Хлебом и волей» во главе с Георгием Гогелиа. Позже, в годы войны, в Женеве выходит «Рабочее знамя» под руководством Александра Ге.

Расскажем коротко о судьбах этих людей, вносящих некогда свой яркий колорит в картину русской женеvской колонии.

Дайнов – один из ведущих теоретиков и лидеров русских анархистов-коммунистов, один из инициаторов создания при «Буревестнике» «Боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов» по примеру эсеровской БО для проведения в России террористических актов. В июле 1908 года товарищи по редакции обвиняют Дайнова в растрате партийных денег на личные нужды, и теоретик исчезает. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Гогелиа, бросив курс Кутаисской духовной семинарии, юношей уезжает за границу, учится в Женеве, становится лидером другого анархистского крыла, «хлебовольского». Во время революции 1905 года бросается в Грузию поднимать восстание крестьян Гурийского района. После неудачи – снова Женевa. Занимается издательской деятельностью, готовит библиографию трудов Кропоткина, издает в 1912–1914 годах в Цюрихе анархистскую газету «Рабочий мир», в 17-м возвращается через Петербург в Грузию, из-за болезни легких отходит от практической работы и мирно умирает в советском Тифлисе в декабре 1924 года.

Братья Гроссманы, Александр и Иуда, – дети елизаветградского торговца. Александр вступает в революцию социал-демократом, но из «университета» Петропавловской крепости выходит убежденным анархистом. В женеvских статьях горячо отстаивает методы убийств и грабежей. Не ограничиваясь теоретическими работами, сам отправляется в Россию и готовит покушение на командующего Одесским военным округом барона Каульбарса. При аресте пускает себе пулю в висок. Иуда в чем-то повторяет первые шаги брата, примыкает в швейцарской эмиграции сперва к эсдекам, но скоро отходит от них и сотрудничает с женеvскими «хлебовольцами», затем с «чернознаменцами». Выступает с лекциями по теории и истории анархизма, причем поначалу показывает себя противником террора и экспроприации, но в революционный 1905 год отправляется в Россию и уже сам принимает активное участие в разработке плана террористических акций и взрыва здания биржи в Одессе. Арестован, сослан в Тюмень, бежит. С 1917-го – в России, приветствует победу большевиков. В 1919-м находится при штабе Махно в качестве теоретика бандитской вольницы, называет себя «анархо-большевиком». В двадцатые пишет воспоминания, преподает в МГУ и ВХУТЕМАСе, в 1926-м публикует в «Правде» письмо, в котором объявляет себя приверженцем сталинского большевизма. Доживет до 1934 года.

Николай Музиль, он же Рогдаев, приходит к анархистам из социалистов-революционеров. С 1903 года – в Женеве. Обвиняется в провокаторстве и шпионаже, но ему удается оправдаться. Один из организаторов центральной боевой группы анархистов, в 1907-м доставляет из Лондона в Женеву крупную партию оружия для проведения боевых операций и в конце сентября выезжает во главе своего отряда в Россию, где проводит нашумевшую экспроприацию на станции Верхне-Днепровск Екатеринославской губернии – грабит почту. Полиция проводит массовые аресты членов группы – схвачено более 150 человек. В Екатеринославе Музиль пытается организовать побег своих товарищей из местной тюрьмы

– попытка оканчивается неудачей, в перестрелке погибают тридцать два боевика и более пятидесяти ранены. В мае 1908-го, мстя за погибших анархистов, Музиль с оставшимися на свободе членами отряда готовит теракт в гостинице «Франция» в Екатеринославе. Надеясь, что на место покушения прибудет кто-нибудь из городских властей, террористы устраивают через определенные промежутки времени несколько взрывов, при которых гибнет много случайных людей. Музиль благополучно возвращается в Женеву, занимается снова пропагандистской деятельностью. После революции – в Советской России. Работает в научной секции музея Кропоткина в Москве. В 1929 году арестован, содержится в Суздальском политизоляторе. Умрет в ссылке.

Янкель Кирилловский, известный под псевдонимом Новомирский. Сперва с эсдеками, в эмиграции становится анархистом. На юге России во время революции 1905–1907 годов создает анархо-синдикалистский «Союз коммунистов», потом «Южнорусскую группу анархистов-синдикалистов». Участвует во всех террористических акциях группы, в частности в ограблении Одесского филиала Петербургского коммерческого банка в ноябре 1906 года, в проведении которого принимали участие и эсеры. Летом 1907-го шантажирует администрацию «Русского общества пароходства и торговли» в Одессе с целью заставить ее выполнить требования бастовавших моряков. С той же целью проводит ряд взрывов на пароходах и организует убийства капитанов. В июле того же года, скрываясь от полиции, возвращается в Женеву, где ведет переговоры с Дайновым о проведении дальнейших совместных акций. При возвращении в Россию арестован, приговорен к восьми годам тюрьмы. В 1915-м выпущен на поселение в Иркутскую губернию, тут же бежит в Америку. После Февральской революции возвращается в Россию. Сотрудничает с большевиками, печатает в 1920-м в «Правде» «Открытое письмо к анархистам», в котором заявляет о своем вступлении в РКП(б). Член Общества политкаторжан. Пишет мемуары. В 1936-м арестован и приговорен к десяти годам лагерей.

Александр Ге, настоящая фамилия Голберг. Исключен из шестого класса гимназии за пропаганду революционных идей. В 1905-м – член Петербургского совета, арестован, отпущен из тюрьмы условно по состоянию здоровья, бежит за границу. С июля 1906-го по декабрь 1917-го – в Швейцарии. Сотрудничает в различных анархистских изданиях, в мае 1913-го является одним из организаторов созыва съезда Швейцарской Конфедерации анархистов в Цюрихе. С началом войны занимает «ленинскую» позицию поражения России и возглавляет в Швейцарии группу анархистов-коммунистов. Вернувшись в Россию, сближается с большевиками, избирается членом ВЦИКа, призывает сражаться вместе с Лениным и Троцким против врагов революции, автор лозунга «Врозь идти, вместе бить!». Поступает на службу в ЧК и делает там скорую карьеру. В мае 1918-го становится во главе Кисловодской ЧК. С июля того же года возглавляет ЧК при правительстве Северо-Кавказской Советской Республики. В январе 1919-го попадает в плен к белогвардейским частям. Расстрелян.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.